

Сергей Катукон

АНГЕЛЁНЫ И ДРУГИЕ

Сборник рассказов



Сергей Катуков

**Ангелёны и другие.
Сборник рассказов**

«Издательские решения»

Катуков С.

Ангелёны и другие. Сборник рассказов / С. Катуков —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-964288-2

В сборник вошли рассказы и переводы, опубликованные в 2017—19 гг. в журналах «Новая Юность», «Урал», «Крещатик», «Иностранная литература», «День и ночь», «Redrum», «Edita», в альманахе «Мю Цефея», антологии «Крым романтический».

ISBN 978-5-44-964288-2

© Катуков С.
© Издательские решения

Содержание

АНГЕЛЁНЯ	6
ВЕЛИКИЙ КОРРЕКТОР	18
СМОТРИТЕЛЬ ТИШИНЫ	32
СЕМЬ БАБОЧЕК КИАМОТУ	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Ангелёны и другие Сборник рассказов

Сергей Катуков

Иллюстратор Sen

© Сергей Катуков, 2019

© Sen, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-4496-4288-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АНГЕЛЁНЯ

День, когда это началось, был безвозвратно упущен. Может, обратиться куда-нибудь с этим раньше, Лёня успел бы осознать *их* и не дал бы *им* ходу. Но раз пустил *их* на самотек, то теперь уж ничего и нельзя было поделать.

В среду вечером у него стала болеть спина. Точнее, два крошечных комочка на лопатках. Слева даже побольше. Приятнее. Словно там перекачивалось по кулечку. Конечно, это от того, что он целый день ведрами носил воду. Соседка Оля Ивановна очень его просила. От колонки на Набережной до ее дому двести лёнькиных шагов. Ведро он поднимал в гору, упираясь в теплый приятный асфальт босой ступней и от скуки считал шаги, вспоминал стихи или воображал, что под ногами, на треснувшем асфальте, пополам с щебенкой и песком, куда со взмахом птичьего крыла уходят водяные хлопья из ведра, – что там прописаны те самые страны и города, о которых он что-нибудь знал и слышал.

Оля Ивановна его очень благодарила, подала два горячих пирожка в газете, улыбаясь сквозь потное лицо. Левый пирожок, кажется, был даже побольше.

– Спасибо, Лёничка. Жалко не соседи уже. Хоть приходишь. На неделю воды-и-и-ихватит.

– Да как не соседи? Вы мне позвоните, я сразу приду.

Соседями они были лет двадцать назад, еще до «коммунизма», пока семья Бездорожных не переехала в другой район города.

Уже вечерело. Лёня шел через весь город, темный и тихий Коммунарск, в котором в последние лет пять по вечерам освещалась только центральная улица, а до нее извилистый крюк. Там весело, молодежь и все, кто еще не уехал из «коммунизма», собирались и развлекались, как знали. В основном возле Бани. В ней работала Варя, но сегодня у нее выходной и она дома, в «третьем конце» города. А всего их пять, не считая Сайгона. По легенде, во времена коллективизации всех цыган из области согнали в эту слободку возле соснового леса, чтобы перековать в сознательных граждан новой страны. Сайгоном эту цыганскую станицу с краю города назвал приезжий газетчик, который в девяностых два месяца проработал в местном печатном органе. Его быстро выставили за подобные «словопрения», но наряду с этим вошедшим в народ ленинградским топонимом, он успел наградить городок поговоркой, которую напечатали и не успели изъять из тиража. В ней обыгрывалось название города, о котором тогдашний городской глава говорил в той же газетке: «Наш Коммунарск хоть и маленький, но очень производственный в плане производства мяса на душу областных жителей мясоперерабатывающий центр. Мясоконсервный перерабатывающий завод занимает лидирующие места по всем показателям потребления среди ведущих производителей профильного уровня. Наши жители всегда будут обеспечены мясом и работой. И разве не таким должен быть настоящий рай?»

А звучала поговорка так: «Комурайск, а кому и Самурайск». А мясной завод в народе назывался просто «Бойня». И от нее воняло чудовищно.

Жизнь в Комурайске налаживалась по линии Баня-Бойня. Это был настоящий коммунизм, далекий от всего, что о нем знали теоретики марксизма, включая самого Маркса. «Коммунизм» в нем наступил в девяностых, после того, как зарплату стали выдавать мясопродукцией Бойни. Остальное, что невозможно было удовлетворить мясом, предоставляла Баня: в ней находились не только расставленные по конвейеру парилка, сауна, бассейн, но все это совмещалось с услугами парикмахерской, торгово-развлекательного центра, мебельного салона, автозаправки, почты, банка, базара и даже милиции. Центральная площадь вместе с мэрией

и налоговой, рядом с которой стоял бетонный Ильич, располагалась поодаль, в культурном месте. Оно освещалось фонарями всю ночь, в отличие от центральной улицы, которая гасла в полночь и которую напрасно называли Бродвеем. Ильич указывал на север, то есть на Москву. Население, которое выезжало по зову Ильича туда из «коммунизма» на заработки, называлось «ленинцами». Вот и получалось, что к двухтысячным в городе только и оставалось, что Баня и Бойня.

На Бойне, несмотря на нутряной, животный запах, работали почти все в городе, «мясные люди». Остальные – в Бане. И только Лёня Бездорожный, подобно мэру и налоговикам, оставлял за собой привилегию не принадлежать этому вещественному миру. Он говорил, что пока готовится к Москве.

С пятницы спина заболела так, что Лёня от тоски пошел к Михалычу.

Пан Михалыч не принадлежал к «мясным». Он вязал веники для Бани, мастерил ушаты, бочонки, всякую деревянную мелочь, торговал ей на рынке. И вообще у него была своя столлярная мастерская, здесь, прямо на балконе, который выпячивался ящиком из его «объединенной» квартиры. Седьмой этаж, где он жил с незапамятных «докоммунистических» времен, долгое время стоял заброшенным, пока Михалыч не решил, что соседи, ставшие «ленинцами», уже никогда не вернуться из далекого прекрасного будущего, поскольку столица для провинции всегда будущее, очертаний которого не догнать, не пленить. Он пробил стены между квартирами и получил очень «объединенную» жилплощадь, назвав ее «Союз-Аполлон».

– Стыковочный модуль «спальня», стыковочный модуль типа «сортир», стыковочный модуль «задушевная»... – знакомил Михалыч со своим жильем, хамовато улыбаясь. Всего их было на этаже четыре, этих модулей. В «задушевной» на тридцать пять «кубиков» Михалыч, разобрав стены, устроил место, где мог «придаваться счастью и размышлению о бытие». Под потолком висела растяжка «Ляж и подумай час о бытие». Для счастья и бытия в модуле «кладовая солнца» хранилась амброзия в таре.

До Михалыча было примерно семь тысяч двести лениных шагов. В хорошую погоду, конечно, меньше. В плохую, особенно, когда петляешь между лужами, или в жару, когда босиком по асфальту, – тогда да, поболее будет. В среднем – час ходьбы.

Сам Лёня жил в доме друга, который попросил «посторожить» его, пока сам будет «ленинцем». Но в окна на опустевшую улицу, предприимчиво, преждевременно и пророчески названную когда-то «улицей Юных Ленинцев», уже четвертый год смотрел один только Лёня. Ни друга, ни соседей друга, ни друзей соседей друга – никто не хотел возвращаться из прекрасного будущего. Только одинокая машина, словно случайная собака, пробежала здесь в ночь, поджав задний свет габаритных. Глубокий общий двор, предвестник и аналог столичных многоэтажек, но положенных набок, в горизонтальную ипостась, каждое лето зарастал по горло, утопая в травяное наводнение, и толпы чертополохов, лебеды и полыни до осени выстраивались в очередь к сараям, гаражам и туалетным домикам.

– Понимаешь, тут кумовской город, в котором тебя знают до того, как узнают, – говорил друг в последнюю ночь перед отъездом. На столе блестела трехлитровка картофельного самогона. – А там тебя воспринимают, какой ты на самом деле. Это феноменология, бро. Чистое восприятие. Безоценочное. Беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт. Дай предмету заговорить о самом себе. В данном случае – обо мне. – Друг шарил в гуссерлианстве.

Когда Лёня поднимался по ступенькам михалычевой девятиэтажки, его августовские пятки блаженно целовались с холодным бетоном подъезда, отдыхая от семи с лишком тысяч горячих шагов по земле.

– Вот-вот, молодец, что пришел... – пан Михалыч признавал только советские праздники и отдельно пятницу как особый, «коммунистический день». С самого начала дня он чувствовал себя своеобразным баяном, которому не терпится дожить до вечера и растянуться в гимне счастью и труду. И сегодня была пятница. И Михалыч снова был баян. Прибавка «пан» к его имени не означала, что он поляк. Как раз наоборот, никто ни его имени-фамилии, ни национальной принадлежности не знал, а «пан» было нечто вроде сокращения для длинного «ну ты, Михалыч, мировой, чертьего, мужик, даешь». То есть в том же значении, что и «пан-монголизм», «панспермия» и «пандемия», например. «Всеобщий мужик», значит. В отличие от древнегреческого Пана, он был вполне городской мужчина, брился, ни на какой сиринге не играл, но заложить за воротник, а тем более в пятницу, считал пренебрежительным действием. За один намек о запрете мог даже бить в морду. Лёне он тоже налил, тем более уже пять вечера и баян у него в душе требует свое. Они вышли в его «задушевную», где Михалыч позавчера снес всю внешнюю стену, чтобы на лес и городскую окраину открывался ошеломительный вид. Даже подойти на метр к этой панораме было боязно. Город находился с противоположной стороны, а здесь – сосны, поля, светло-фиолетовый асфальт вьется и пропадает на подъезде к городской свалке.

– Я здесь живу в раю, – говорит Михалыч. – Электричество есть, вода есть, огород есть. Земля, воздух, небо. В небе солнце, птицы и пахнет. Только ангелов не завелось.

– Это хорошо.

– Почему хорошо? Нехоррошо! Я бы привлек одного такого к ответу, чтобы никто никогда не ехал в наш Комурайск.

– Я имею в виду, хорошо, что вода и огород. Воздух и небо.

– А! Тогда молодец! – и снова разлил на двоих.

Электричество, вода, огород, четыре квартиры на этаже, сквозной проход через весь дом по седьмому этажу – все это у Михалыча было дармовое. Огороды и несколько теплиц он лично присвоил в течение последних трех лет. В прошлом году, когда электричества еще хватало, ходил Михалыч с перфоратором по всей девятиэтажке, дом трясло, как штакетник. Но кому до этого какое дело? Почти весь микрорайончик пустует. Сам город полузаброшен. Дом стоит на краю перед глухим сосняком. Если кто спросит, пан Михалыч ответит, что скупил весь этаж «за пятак». Вообще же говоря, хозяйничал он в этой девятиэтажке, как хотел, не взирая на десяток жилых квартир на первых этажах. О рае, правда, могла быть речь только по контрасту с Бойней: до Михалыча вонь не доходила. Поэтому и в дом, и в окрестности иногда подсеялись посторонние.

Михалыч потащил Лёньку на балкон. Тут среди верстаков он мастерил музыкальный инструмент. Была у него такая придурь. И сам вроде не поймет, что за инструмент, и как его делать. Лепит по вдохновению и по наитию.

– Михалыч, я тебе говорю: это балалайка...

– Чёртьегознает... – пан Михалыч рассматривает зажатый в тисках деревянный перпендикуляр. – У нас чего ни возьми, всегда выходит либо акээм, либо водка, либо балалайка! Но не это главное...

– А что главное? Михалыч... – вздыхает Лёня, держа в руке полный стакан.

– А главное, Лёня, не быть в жизни мудаком!

Через час они подсели к голубям на крыше. Внизу, весь, как на ладони, уходил в сумрак Сайгон. Заходящее солнце колосило башню налоговой и золоченые пики церквей, особняки и квартиры в пятиэтажках: брошенные, обменные, проданные. Где они теперь, все эти люди? Пропали в будущем? На футбольном поле блошки-пацанва катала горошину. Лёня, у которого зрение, как у моряка, видел даже расчерченную под шахматы площадку.

«А2 – А4» – сказал он.

«Вот чертяка! Даже это он видит!» – Михалыч не смотрел туда, пропускал взглядом ту дальнюю окраину, в которой, где-то там внизу, в одном из мерцавших окошек, в светящейся клеточке жила жена Михалыча. Однажды она покинула его и ушла к «мясному человеку». Он убежал взглядом к реке – с пульсирующей слезой, поджав губы. Потом шумно с матерком высмаркивался.

– Михалыч, а как твоя фамилия?

– Как-как! Никак... – с досадой ответил Михалыч и снова высморкался. – Околоземный.

– Офигеть... а имя?

– Отец служил в Германии... Скучал по родине. Мне бы, говорит, баян. А в военной части, где он квартировал, запрещали всякую музыку. А после шести вечера – вообще всякой самодеятельности крантец. Даже электричество отрубали. Чтобы не наводить помехи на локаторы. Там у нас была крупнейшая радиохрень. Когда за-за... Мы за-за... Тьфу... шпионили, в общем, за Запад... Баян меня зовут... Баян Михалыч. Околоземный...

– Офигеть...

– Слушай, Лёнь, переселяйся сюда. – Он душевно, с ноткой одиночества, посмотрел в пьяные глаза Лёни и показал на балкон соседнего подъезда. – Я ее для тебя выглядел. Будешь, как птица под небом. Самое высокое место у нас тут. Гулю-гулю-гулю.

– Гулю-гулю-гулю, гулю-гулю-гулю! – Лёня замахал крылышками ладоней. Голуби пугливо разлетелись.

Лёня спал очень тяжело, а с утра, нащупав на спине гребневатые рубцы, с комом в горле и несмаргиваемыми слезами побежал к Варя. Вторгся прямо в спальню. Легкая рубашка, как хитиновая гильза с куколки, соскочила с него через голову. Варя вскрикнула, торопливо зашторыла комнату и ловкими пальчиками расстегнулась из блузки. Белый бюстгальтер светился в розовых сумерках.

– Ты чего? – оторопело сказал он.

– А ты чего? – она вспыхнула и отвернулась. Подобрала брошенную на стул блузку, в ожидании покрутила пуговицей.

Лёня помолчал. Посопел.

– Посмотри. У меня спина...

– И у меня спина, – как будто знала, что ответить, так быстро сообразила Варя.

– Вот ты всегда так начинаешь... Сама не знаешь, что. – Он присел на стул. – Посмотри у меня на лопатках.

Лёня сел к ней спиной. Варя взяла его за плечи и повернула к окну. Вгляделась. Потом снова подрегулировала рамена, как раму мольберта.

– Лёнька... – прошептала Варя. Сквозь прозрачную кожицу смотрели два павлиньих глаза. Томительно прикрытый зрачок. Маленькие гермесовы гребенки.

– Лёнька, у тебя крылышки растут! – сказала Варя весело и отвернулась, чтобы надеть блузку.

– Крылыш?... Че ты гонишь?

Варя сердито обернулась – затянутой в прическу головкой – через плечо. Обиженно ушла, погремела в ванной. Она хоть и работала в парикмахерской, но закончила в педагогическом факультет начальных классов. Не любила, когда при ней говорят грубо. Обижалась, когда Лёня ее называл «банной душой». «Должен же хоть кто-то работать в нашей семье» – поучала она. Хотя Лёня еще не осознавал своего будущего семейного состояния с ней, и они пока только встречались, живя порознь, но Варя уже все решила. С историей и математикой у нее все было в порядке.

Пришла с зеркальцем.

– Ты будешь ангелом. А наши дети – ангелочками. – Наклонила его спину, за ней в ореоле сморщенной прозрачной кожицы отразилось два голубиных крыла. – Ты – Лёня-Ангелёня. – Сказала она уверенно. – А дети будут ангелята. Ангелёны.

Лёня поводит плечами. Посмотрел на краешек щетины. Вспучил губы.

– Только ты пока никому не говори.

– Скажешь тоже. Не говори. Что я дурочка, что ли? Говорить ему...

Лёня задумчиво вернулся в рубашку. Теперь он был гораздо более спокойным. От этого спокойствия оставался даже еще остаток в виде удовлетворения и маленькой выпуклой гордости. словно его одарили торжественным титулом, назвали по имени-отчеству посреди базара. Крылья – это, может быть, даже хорошо. Он представил, что *ими* можно пошевелить, как пальцами. Накрыться от дождя, например. К зиме Варя свяжет ему шерстяные накрыльники в виде плаща.

– Ну я пойду? – мирно спросил он.

Варя кивнула, застегивая последнюю пуговицу, и показала розовым ноготком на подставленную щеку. Лёня неторопливо прикоснулся к ней губами, погладил варварин затылок.

Если бы не зудящая, словно зубная, боль, Лёня и не обращал бы внимания на то, как лезут за спиной бугорки. Все так же ходил бы по городу босиком, бездорожно срезал сквозь дворы путь до стройки. Только это так называлось – «стройка». Откуда-то приезжали бригады быстрых, громкоголосых молодчиков с наглыми пузатыми лицами. Разбирали дома, начиная с особенно хорошо сохранившихся. Местами целые кварталы. С собой они привозили южных молчаливых ребят, мускулистых, гарцевавших топлес на месте снесенной крыши. А он слегка помогал им растаскивать город. Зарабатывал, разгребая вместе с ними кусочки «коммунизма». Все также встречал бы Варю с работы. Нес пакеты с едой и выслушивал ее говорливую, ортопедическую речь, рассматривая под ступнями миниатюрную местность. Продолжал бы перебредиваться с дружками, когда сидят они на коряге посреди местной речки, с тонюсенькими длинными бамбуковыми удочками, у которых редкие перемычки-суставы, словно позвоночник, вытянутый из бумажного дракона, и которые они держат зажатыми в пальцах ноги. А в кармане антрацитовая, шуршащая пригоршня семечек. Или до сих пор гонял бы расщепленной клюшкой детский мяч, которым ему один раз залепили в нос – хоккей на траве. Теперь же все надо бросить. Сидеть где-то, прятаться, как в детстве, когда он, лишенный компрессами, шарфами, пуховым платком собственной шеи, оставался болеть ангиной. Никуда не выходил, не знал, чем заняться. И от этого, и главным образом оттого, что ему казалось, что он всех обманул, было особенно легко и хорошо: вот бы так никогда ничем не заниматься. И всю жизнь. Ходить и притворяться в шарфе, за которым ангина. *Они* и были такой ангиной. А варины накрыльники, которые она, низко наклонясь, вяжет, пока он идет и несет ее сумки и все это сочиняет, – это и есть шарфы, платки, компрессы. Если бы не нетерпение спать лежа на животе, в то время как *они* лезут изо рта, пока он младенец, и белые, мягкие, сухие, пушистые *крылья* наполняют его рот из зубных прорезей. Обезвоженный, он просыпается от двух болей в спине, лежа навзничь с открытым ртом, в котором давным-давно все пересохло, испарилось. Рот и даже горло подернулись бумажной кожей. Хочется пить.

Если бы не это, все было бы как прежде. А теперь он о *них* думает, как об отдельном от него. О живом.

В середине сентября Лёня как бы вздрогнул и очнулся. Идти стало некуда: дождливое, настолько узкое утро, что свет будто растекся лужицей из щели под дверью. Лёня лежал на животе, рассматривая альбом итальянской живописи, который Варя принесла из разгром-

ленной библиотеки и наполненный мифологической и библейской суетой. Сокровища, игра света и теней дна морского. Целая энциклопедия ангельских крыльев. На одной репродукции, преклонив колена, перед высоким ангелом стояла женщина с лицом Оли Ивановны и подносила ему дары. Лёня рассматривал ее мягкое старушечье лицо – словно очень влажные ладони. Поношенное платье, башмаки, приспущенный на затылке платок, крупные очки, нарочито свисающий из кармана мобильник на тесемке.

«Позвонить? Рассказать про крылья? Это ведь ваши пирожки. Один, левый, побольше. Вот удружила, Оля Ивановна, – подумал он с горячей обидой. – С чем хоть пирожки-то были? С капустой? Из голубинового крыла?» Сам он не съел ни крошки, все скормил выбравшимся из тайги чертополоха котяткам с сопливыми невидящими глазками. Раскрошил перед ними. Была теплая солнечная погода. Муравей взбирался по пропеченному боку пирожка.

Он позвонил несколько раз. Но не отвечали. Был уже пасмурно-ложный вечер, когда он, обувшись, в плаще, под зонтом, отправился через весь город к Набережной. Плотнотиснутые створки ворот, дом заперт. Под крыльцом фрагмент протектора – ухоженные китайские поля. Под навесом сарая два перевернутых ведра. В Москве у Оли Ивановны родня. Теперь и она ушла в будущее, подумал Лёнька, хотя еще не понимал, как устроено время. Но, похоже, здесь, в Коммунарке, оно остановилось, и теперь его можно изучать, поднимая пинцетом слои, наблюдать, как тушу многокилометрового, заросшего лесом и домами животного. Вот бы сюда ученых: где еще можно увидеть такое совсем мертвое время?

Заночевал у Михалыча. Обо всем рассказал, показал подростки, но не вылипавшиеся зачатки. Хрустящие. Левый побольше.

– Я собирался в Москву. Все-то поуждали. А теперь что делать? С *ними*.

– Да чего ты там не видел, в вашей Москве? Ты теперь вольная птица. Пора, брат, пора!

Они выпили, закусили. Из панорамы хлестал дождь. Перпендикуляр в тисках покрылся гусиной кожей брызг. Михалыч на зиму собирался в Сайгон.

– Ты, Лёнька, только не горюй. Должен быть в нашем городе хоть один ангел. Когда никто не останется, все уйдут в будущее, ты один станешь сторожить город. Ангел места. Слышал такое?

– А я тоже улечу, – не соглашался Лёня.

Он представил, как идет по небу босиком, перебирает ногами, а внизу, как по асфальту, – страны, страны. И все такое прочее.

– Я Варьку с собой заберу. Сплету корзинку, посажу туда, и мы улетим.

– Жалко... Я бы тоже с вами хотел. Но вы молодые, а у меня тут хозяйство.

Возвращаясь утром домой, Лёнька встретил прохожего. По запаху и плотному лицу с фиолетовой темью, цвета навозного червя, было ясно: это «мясной человек». Спешил к себе на Бойню. Оказывается, одноклассник – вспомнил Лёнька погоду. Не узнать их теперь. Вроде начинали в одном и том же прошлом, а теперь состоят в разных местах настоящего.

Чадила Бойня. От нее слышался тяжелый, гнетущий пространство запах «коммунизма». Раньше от него хотелось сойти с ума, а теперь только подумалось: «Быстрее бы выросли крылья... За зиму сплету корзину и выучу все языки... Надо набрать в библиотеке книг».

Варя все очень здорово спланировала: поселила его в центре, спрятала в переулке, который несколько раз поворачивает под прямым углом внутрь, а в конце упирается сам в себя, пока не останется точка – пустая дыра конуры. Отсюда и к Варе близко, и до библиотеки прогуляться не лень. Она сможет часто приходить, приносить вкусненькое, а он пока должен вынашивать крылья. «Это твоя беременность, – говорит она с завистью холостой подружки. В доме натоплено, и огонек свечи на столе танцует от теплого прилива из кухни. Варя уми-

ляется на покатуую горку за спиной, деликатно поглаживает туго уложенную сизую котомку с кровянистыми узорами капилляров: как будто ему теперь одному идти в поход. – Это будет наш первенец».

В ноябре спина сильно болела. И когда стали выходить крылья, то их ломило и резало. Слева чуть больнее. И ранним декабрьским утром Лёня из теплой постели прилепал босичком на порог, потянулся молоденькими крыльями, как бы зевнул *ими* и, чуть продрогнув, стал расправлять за спиной два чудесных, с жемчужным отливом, веера.

Книги, которые он приносил из разгромленной библиотеки с прогулок, охлопывал от пыли и складывал в один угол, а прочитанные – в другой.

Лёнина история крыла

Леня хотел проследить эволюцию крыла в изобразительных искусствах, насколько могла позволить археология матчасти, стелил на коврах поверх топыристой травки махры тяжелые художественные альбомы – не понять, как столько краски, высеченного и высеченного в пространстве образа сущего поместилось на плоской сетчатке листа. Из репродукций складывался пасьянс истории, а не эволюционно выпестованное торжество эстетики. Ибо самым совершенным и банальным крылом предьявлялась неподвижная самолетная плоскость. Она пестрела, сопровождая мелькающий пролет *их*, вписанных в паспарту страниц.

Расцвет крыла пришелся на Возрождение.

Отдельный жанр крыла, в котором необходимо отметить автору, – крылья Благовещения. Крепкие, изящные, с изгибом бедра, с патронташем нижних перьев – Леонардово. Темно-красные, щитовые – Филиппо Липпи: огненно-вздыбленный плащ, накрывающий зонт паланкина. Арктическое сияние Тиссо. Суровые, рублевские крылья. Ландышевые – у Боттичелли. И так до бесконечности.

Рисунок Босха с гнездом совы – единственное обнаруженное «натурфилософское» изображение крыла. Хотя в целом у Иеронима они скорее насекомьи, чем птичьи.

Царевна-Лебедь Врубеля посреди ледяных торосов.

Ван Лейден. «Ангел». Готические журавлиные крылья в стойке кобры.

В Азии совсем мало крыла. На статуэтках Будды его заменит большой ростовой нимб – мандорла – в виде лепестка пламени, как у свечи или спички. Будды внутри них – в функции фитиля. Причем Будда прошлого и Будда настоящего – как две смежные комнаты. «Это надо заметить, – отмечает Лёня, – а именно: крыло, будущее и прошлое. Смычка между *ним* и временем».

Гермесовы летательные инструменты перепорхнули на спины ренессансных путти. Они, как пташки, обсели картины по периметру. В «Сикстинской мадонне» они обозначают нижнюю границу обрамления и переходят в разряд зрителей.

Уже на древнегреческой вазе крыло совершенно. Впрочем, как и все остальное. Ваза сама по себе – прообраз и макет средневекового собора.

Лёня подозревал, что в большинстве случаев крылья изображались из чувства необходимости дополнительной костюмированной эстетики. Необходимости укрыть, согреть хрупкое небесное тело. Без них фактура казалась неполной, обнаженной, не хватало плащеобразной накидки, с которой можно закинуть рукава за спину.

Совершенно ничего нет оригинального в новой и новейшей живописи. Классические рифмы прерафаэлитов.

NB: встречаются совсем мелкие куриные или индюшачьи закрылки, которыми в деревне метут полы. Так, только символически. Для антуража.

А вот совсем как у него: «Благовещение» Франческо дель Косса. Павлиньи глазки. Перевернутая арфа.

Птицы в антураже, в мизансцене, в обрамлении – как узор. Для заполнения пустоты. Декоративные лепесточки. Либо в натюрморте с дичью: плюшевые тела с полусферами крыл,

пленные в силу анатомии, не имеющие воли расправить плеч. словно ладонь, безучастно собирающаяся по привычке в горсть.

Древнеегипетские утки взлетают над зарослями папируса, приветливо и статично раскинув крылья.

Ассирийские каменные крылья у быков шеду. Самые длинные и чеканные из всех: начинаются от передних лап, следуют канту тела, как венки республик на гербе советской монеты.

А вот редкий случай: Караваджо – темно-голубиные аршинные крыла в ракурсе, будто подходишь к ним сзади.

Бадалоккио: крылья в движении, мягкое, пуховое перо пенится, колыхается, мнется.

Таддео Гадди: пламенный серафим окутывает Распятие, превращая его в птицу. Птица распята на крыльях, значит, птица тоже в какой-то степени крест.

Бёрн-Джонс. «Дни творения». Пером заполнен весь задний фон. Воздух еще так густ, что состоит из пера. А потом разгустился и осел на ангелов.

На монгольской миниатюре шестнадцатого века честное собрание птиц, светская болтовня дам и кавалеров.

А вот Стефан Лохнер: остроухие декоративные крылья ангелков-хористов, похожие на лепестки бархатной травы.

Купидон на помпейской фреске.

Ангел звезды Меланхолия на дюреровской гравюре в лавровой листе гранитного пера.

Два фиолетовых пластика на картине Дали.

Ника Самофракийская с нарубленной каменной наледью крыльев. Крупные гроздья нерегулярно разбросанных перьев – вот он, хаос движения.

У мраморного эрота Кановы крыла просто загляденье: вся скульптура подвешена на них, как тень на облака.

Ну, видно же: это не эволюция, просто история, по которой, как по рельсам, можно катить вперед и назад.

Варе было заказано почаще приносить батарейки для большого фонаря. Читать при свечах, расставленных созвездием, – так удобно обозреть сразу всю историю крыла – сонливо и пожароопасно: два раза подсвечник падал и опалил теплые, мохнатые ковры, на них вспыхнули опушки. Батарейками питался крупный радиоприемник. В темноте при светодиодных иероглифах частот, тяжелясь, он оттягивает пересечение радиоволн, словно зарывшийся в центр паутины шмель, и Лёне, который поворачивает ручку настройки, кажется, что так он беспокоит весь мировой радиоэфир. Он полюбил слушать джаз. Майлз Дэвис. Чик Кория. Телониус Монк. Чарли Паркер. Гитарный фьюжн Маклафлина. Мечтательно-игривый Жако Пасториус. Сокрушительный Билли Кобэм с «Махавишну оркестра» и Сантаной в главной роли.

Когда смеркалось, Лёня выходил с фонарем и санками, перекачивался по низкорослым кварталам. Угловые дома обычно уже давно полуразобраны: там выдернуты ворота из гаража, там неотвязно и навязчиво хочется смотреть в черные комнаты, там перевернутый туалет на заднем дворе. И именно так должно было выглядеть время: большая, заброшенная территория домов, улиц – все это осуществляется одновременно, как место. Прошлое – это место, и будущее – место, и все они помещены в бесконечное настоящее. И оно вмещает все. И оно всегда. Но пока неясно, где именно расположено. Так думал Лёня, пока шел в снегопад.

Сначала подтапливал всякой мелочью, потом раздобыл сарай, откуда на санках вывозил дровишки с круглым, как у свитков, профилем. Кто-то готовил, надеялся. Не пропадать же добру. А раза два в неделю наезжал в библиотеку. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» – поворачиваешься, а тут бац, такой длинный дяденька, с шершавой, редкой, как волос на ноге, бородашкой и с крыльями в прорезях плаща. И, наверно, улыбается, как зэк.

Лёня подрос, да. Варя тоже заметила. Приходилось вставать на цыпочки, чтобы крылья расправились, не задевая пол, когда она поднимала снизу вверх их складную конструкцию. *Они* еще не до конца созрели. Оставалось что-то не совсем понятное, что *им* еще нужно. Как будто в *них* еще не вдохнули жизнь. Или *они* пока спали. Но уже были огромные. На целую комнату.

Лёню поперву волновали вопросы: «Как спят ангелы?» Он разбирался с врубелевским поверженным Демоном – уж больно странная, замороженная в скалы постель из костяка его тела и мякоти крыльев. «Стареют ли *они* отдельно или с ним вместе? И могут ли *они* взбунтоваться?»

А теперь думал совсем другой вопрос: «Разве это нормально, у человека выросли крылья?» – и поэтому хотел разобраться, много читал. А время за это время устранило электричество, замело дороги, прекратило мобильную связь, превратило его во что-то другое, у чего нет паспорта, прописки. На птичьих правах он был в этом мире, на птичьих первобытных условиях проживал в нем. Из сна слышал себя со стороны, как бы охранял свое тело, как бы выглядывал из себя, даже чуть на улицу, до ближайшего перекрестка.

Иногда в потемках брошенного квартала звонил телефон, замолкал и через пять минут повторялся, тут или через дом-два. Пожалуй, это было самое страшное для Лёни. Он пыривался отыскать металлический, забивший в пустоту звонкий родник, взять ледяную трубку, сказать: «Здесь никого нет! Разве вы не знаете? Зачем звонить в прошлое?» Новогодней ночью вдруг забило, затрезвонило даже оттуда, где вместо дома оставался ровный, по колено, фундамент.

Варя в тот день прибежала веселая и, смеясь, выкладывала из сумки продукты, вспоминала, как в школе мастерили из коробок кормушки:

– Не мороз, не холод страшен птичкам, а голод.

Потом сосредоточенно и серьезно сказала: «Дорогой ангел, прости, пожалуйста, не могу сегодня остаться с тобой. Мы с девочками договорились. Но обещаю, завтра приду. И у нас будут длинные вкусные каникулы. И еще у меня есть для тебя подарок. Но это – до весны».

Читал он очень много. И разное. Но преимущественно из серии «Библиотека мировой литературы». Ему нравилась обложка и хорошая бумага. В новогодний канун, словно в подарок, он открыл для себя стеллажи философии и психологии.

Михалыч часто пересекался с Варей. Его прилавок был через несколько павильонов от парикмахерской. В течение дня он мог бесконечное число раз махнуть ей рукой, она в ответ – кивнуть строгой головкой. Пока он стоял в дверях ее предприятия на пять клиентских кресел, она фрагментарно видела его меняющуюся мимику в зеркале, отрываясь от клиентши.

– Ну что, как там Лёня? – спрашивал Михалыч через головы посетителей с интонацией, будто про женщину в интересном положении.

– Нормально! – весело отвечала Варя, стрекоча ножницами.

– Растут? – с надеждой продолжал он.

– Растут-растут! – смеялась Варя, застенчиво прикрывая рот.

– Кто растут? – испуганно спрашивала клиентесса в пеленке вокруг шеи.

– Кто-кто! Усы! Вот кто!

Все лёнины условия, ясное дело, были во дворе. И хотя вокруг все равно, что в лесу, он стеснялся даже перед воздухом – таких больших и красивых крыльев на голое тело. Утром мороз, и только солнце и порхают ослепшие снежинки, а на снегу только птичьи трилистники и следы Лёни Бездорожного – ангельский полуслед: он чуть припархивал, подлетал на крыльях. Отпечатаются босые пальцы и кусочек ступни: пять разной толщины лучей над полукру-

гом восходящего солнца. Вот такая она – ангельская печать, совсем не то, когда по прежнему асфальту.

Начитанные горы книг выростали в углах. В них откладывалось время и отстаивалась зима. То, что снаружи шло на убыль, перетекало сюда. Зима осветлялась, а книг в углах, словно теней, прибавлялось.

В город медленно прибывала весна и медленно, словно лучи света, день за днем прорастая дальше, – от подоконника до стола, от стола до стула, от стула до обожженной опушки, – так же медленно поползли слухи, дотягиваясь в разрозненные части города. Из книг разгромленной библиотеки, когда морозный, тугой вихорь скрутит их водоворотом, из старых вещей: обломков, обрывков, с репродукцией нищего мальчика вместо лица – является ангел по всему городу и всякому бегущему от него в сумерках встреченному предрекает: «Скоро, аки пала Вавилонская башня, падет Бойня». Видимо, имелась в виду труба комбината, которую было видно из любой точки города, темно-красного кирпича цвета, закоптелая.

Старушка-информаторша, маскировавшая свое окно половиком, каждый вечер заглядывала в его тухлявую щель, находившуюся как раз по диагонали от едва видневшейся библиотеки. Она самолично подобрала старинное золото, оставшееся на вмятинах в снегу, где ангел прошел, и показывала тяжелую старинную медаль, правда, медную, с прозеленью и неровным ушком, в мягких велюровых складках наследственной тряпочки, отреза от халата. По городу потом долго искали такие же и, по словам Вари, находили, но никому не показывали и поддержать не давали.

В апреле по первой травке Лёня пошел в сторону Сайгона, внутренне переживая диалог с Михалычем. О множестве книг, прочитанных за зиму, которых хватило бы на всю жизнь, об оранжерейной анфиладе альбомов, о ленинском открытии: пространство фундирует собой время, планомерно экстраполируя его повсюду, внахлест перекрывая переход между будущим и прошлым с таким же плавным целеполаганием, как восходящее глиссандо джаза, а в самом пределе звука его высота сравнивается константой, и тогда наступает «навсегда». Так он назвал некую всемирную гармонию. И только если двигаться очень быстро, со скоростью крыла, только тогда можно ухватиться глазом за горизонт движущегося времени. И, конечно, он хотел показать, как выросли его ноги и все тело, чтобы дать крыльям свободу и чтобы не касаться *ими* земли. А левое, если присмотреться, – он повторял, чтобы не забыть эту присказку, – а левое чуть побольше. Крылья совсем созрели, полностью распечатались, расправились.

Он шел, не таясь крыльев, встречая на пути «мясных людей», которые смотрели исподлобья и сильно не хотели, чтобы Бойня пала.

В модуле «задушевный» лежала гипотенуза обрушенной потолочной плиты и чернел кружок от костра. Михалыч на зиму ушел в Сайгон, вспомнил Лёня; а здесь была стоянка чужих людей. Он пробрался в угловую квартиру, о которой говорил Михалыч, самую обыкновенную, потом поднялся на крышу и посмотрел на чужой город.

Конечно, он отправился в прошлое, где, по его представлениям, ничто не в диковинку и ангелы вместе с другими существами вышли из Ноева ковчега, как древние формы старославянского плюсквамперфекта. И пока ковчег кособочился, превращался в горы минералов, все они, существа, дети ковчега, играли, хороводили перед ним, словно краски на райском полотне Яна Брейгеля.

Они поселились в корзине, которую он – с Варей внутри – принес над облаками в это чудесное прошлое. Это был ее подарок, сплетенный за зиму. Плетеная спальня, кухонька на двоих, плетеное окошко и складной порожек, который опускался, если было решено обос-

новаться на новом месте. Лёня чинил книжные переплеты, а Варя устраивала на голове модниц прически времен барокко – фрегаты с парусами, ботанические павильоны, пышный геральдический декор. В паспортах, которые он завел из разоренной муравьями инкунабулы, она значилась белошвейкой-воспитательницей, а он – как мирской ангел с домашним академическим образованием.

И вот что он обнаружил. Оказалось, настоящих, прошлых и будущих – несметное множество. Все, что существует, раз оно осуществилось, уже является прошлым, а значит, и будущее – по крайней мере, самое ближайшее будущее – в какой-то степени уже прошлое. А потом это будущее уменьшает вероятность себя, пока совсем не перестанет быть неопределенным, удаляясь в прошлое, в то настоящее прошлое, к которому мы привыкли. Тогда, по большому счету, повсюду есть только прошлое. Будущего и настоящего, по факту, нет и быть не может, ведь то, к чему мы мысленно прикоснулись и что осознали, – уже прошлое. Значит, из нашего будущего навстречу нам всегда движется чье-то прошлое – того, кто к нему мысленно прикоснулся раньше нас. Время же запаздывает, на микроскопическую долю вселенской жизни, потому что мысль быстрее времени и скорости света. Мы уже что-то осознали, а время только-только догоняет осознанное. Так думал Леня в своем далеком царстве плюсквамперфекта. Он подолгу двигался над этой страной, перебирая в небе босыми ступнями. И поскольку левое крыло отродясь было чуть крупнее, то, когда задумывался, неосознанно ложился на правый курс.

Жизнь на одном месте, продолжал он думать дальше, – это ярмо собственноручного рабства. Крылья не зря ему нужны, чтобы, перелетая между прошлыми, меняться самому. Чертами лица, пропорциями тела. По существу, начитав столько всего, он теперь живет сам в себе и может быть абсолютно равен самому себе. Лети в прошлое, в будущее, беседуй с кем захочешь, как с самим собой, и в любое время. Вот они, преимущества внутренней свободы.

Пан Михалыч сначала жил на окраине в особняке, захватив его безо всяких зазрений совести, по-сквоттерски. Со временем отбросил имя-отчество, срезал свирель и стал просто Пан, растворившись в лесах. Лёня ничего про это не знал и считал, что тот совершенно зря прозябает в своем настоящем. Пока Лёня летел в новые края, прицепив к поясу плетеный домик с Варей внутри, то мысленно распекал его за мелочное, провинциальное «панмихальство», которое Лёне теперь, после стольких книг, стало совершенно очевидно.

Но тогда он еще не испытал смысла, что, улетев откуда-нибудь, улетаешь навсегда. Не знал, что невозможно возвратиться в точно это же место. А если пытаешься возвращаться, то застаешь уже что-то другое. Поэтому, где был Коммунарск, через полвека стоял лес и развалины совсем другого, едва ли внешне похожего, но на самом деле чужого города. Седобородый ангел с выводком внуков гостил на чистом пригорке, рассматривая дальнозорким глазом чащобу, где, наверное, мог бы стоять Сайгон.

У внуков одно крыло – у кого левое, у кого правое – чуть побольше. Они шумели, каждый кричал громче другого.

Семилетняя девочка декламационным тоном сообщала:

– Это настоящее время: что-де-ла-ет! А это прошедшее: что-де-лал!

– А я тебе говорю: что делала – это настоящее время, – перечил ей мальчик с сиреневым, чуть более крупным левым. – Что ты сейчас делала? Сейчас – делала! Вот видишь!

Один читал по книжке: «На берегу незамерзающего Понта мы жили-были трали-вали».

Потом седобородый дедушка поднял их в воздух, и они гуськом, держась друг за друга, пошли над лесом, обходя стороной трубу комбината.

В лесу кто-то показался, притник к дереву и исчез. Может быть, в образе Пана бродил там Баян Михалыч Околоземный, когда-то инженер-строитель.

Солнце садилось. Семейка ангелёнов босоного возвращалась домой в прошлое. Лес стоял тихо, незаметно, бесконечно долго и, погружаясь в наблюдение, оказывался одновременно везде.

ВЕЛИКИЙ КОРРЕКТОР

По дну снова громынуло, и Николай, очнувшись, переместил взгляд из будущего вниз, туда, где в мутноватой воде ведра водились золотистые, солнечные проблески карасей. Штанина, закатанная чуть выше голени, навязчиво пережимала бедро. Николай потёрся коленями и присел на тихую отмель с бархатным песком, бочиной шелковистого бархана лежавшего рядом с берегом, словно дно перевернутого баркаса. В будущем, на которое до этого смотрел Николай, небо, исполосованное перистыми облаками, принимало в себя вечер и располагалось за далёким мостом, шагавшим через реку длинными, арочными пролётами.

«Акведук», сказал про себя Николай и подумал, что всё равно ничего не сможет отсюда взять, положил ведро на бок, из него тотчас выплыли медленные, медовые караси, а последний, поскоблывая чешуёй по оголённой жести, не мог развернуться и плоско попрыгивал в обмелевшей посудине. Николай перевернул ведро, раскатал штанину и вышел из редакционной комнаты.

Он стоял на лестнице и дрожащими руками пытался справиться с зажигалкой. На колёсико и кремний попал пот, и теперь оно вхолостую потрескивало под пальцем. Полчаса назад вот так же, неумело и оглядываясь по сторонам, он пытался завести заглохший посреди реки мотор. Каждый раз Николай переживал тот же самый ужас и счастье происшедшего с ним погружения в работу. Сначала он подбирает лишние знаки, делит их поровну, разводит в стороны ветки и втыкает клыкастую запятуя в чёрную, горячую землю, только что развороченную инверсионным громом самолёта, лента его следа расправляется, и руки, нащупывая сначала ватные, а потом рифлёные верёвочные ступеньки, помогают взобраться наверх, и вот он уже внутри текста, осматривается, приседает, чтобы бодро, настороженно почувствовать, где он оказался и в какую сторону только что прошла гроза.

Нет, повествование никогда не соответствовал тому, что происходило вокруг. Даже наоборот, речь могла идти о завоевательной кампании в Индии, Соловках времён Гулага или пацанской разборке во дворе, имело значение только, как себя поведёт слово, с какой частотой придут волны ритма, колыхание стилистической жидкости, по плотности которой можно определить, будет ли это осенний пустой распадок, где он бредёт уже гораздо дольше, чем читает, или детская комната на сто первом этаже: за дверью слышна музыка и голоса гостей, а в окно просится чикагский прокуренный дождь.

Нет, это было бы банально и пошло, если бы слова были непосредственно теми же самыми вещами, о которых они вели речь. Николай объяснял для себя это несовпадение тем, что когда вы, например, пьёте водку, разве сам алкоголь производит эти взрывы фантазии? Это ваш мозг на химическом уровне разыгрывает представление. Или вот музыка. Разве вы придаёте смысл каждой ноте? А тем временем они образуют поток, который вносит вас в страны, где вы никогда не были и никогда там не будете и без нот не придумали бы их. Но разве это всё находится в нотах?

Поэтому Николай разделял происходящее на то, что бывает «текст» и бывает «поток». Но и последний – тоже разной глубины. Но ты сразу понимаешь, в «потоке» ты или в «тексте». Хотя Николай не стеснялся этого продажного слова – «текст», оказавшись перед которым надо сначала испытать его, чтобы он сам доказал, что он такое. «Текст» можно разбирать, в лучшем случае все его части отлично прищёлкиваются. В «поток» погружало.

От зажигалки Николай так и не дождался огня и вернулся на рабочее место.

Но ещё прежде, до того, как он посмотрел туда, в будущее, где такого закатного цвета облака, словно заварочная пена, накрывали горячий настой невидимых отсюда ароматных полей – что это было? Пристальный взгляд, сколько не вертись, знающий тебя заранее

и поэтому убегающий в области, тебе неподвластные, куда ты никогда не помотришь, – в твой затылок. И на языке пошлый холодок, вкус белизны и пустоты...

Материалом для правки, который вызвал сегодня речное переживание, оказалась статья про палеоантропологическое исследование в Восточной Африке. Сам верхний уровень, ту каменистую поступь слов Николай через пять минут почти не помнил, – ещё чуть-чуть и память испарится, – зато останется: мост, будущее в виде заката, угрюмый плёс и последний карась толчками бьётся в жестяное дно. Корректор Николай Опечаткин – как профессиональная машинистка, разделившая биение букв бытия на солнечные фантазии и напальцованный текст, который она не то что не помнит, хотя только что набирала его, но на самом деле даже не знает, никогда его не слышала.

2.

Одноклассники дразнили Опечаткина антиорфографической фамилией, даже учителя, к своему удивлению и его ужасу, находили повод, чтобы не вовремя для него, исподтишка поддеть, едва есть возможность. Молоденькая, словно раскосый глаз лисицы, русичка, только что выпущенная из педа, зачитывала на весь класс странности из его сочинения и, подойдя ближе, присаживалась в облегающей сзади юбке и тёплым голосом оправдывалась:

– Коля, у тебя даже фамилия такая – классенькая: Очепяткин, Оче-пяткин: очи и пятки.

Естественно, к шестому классу у него появилось микроскопическое видение слова, началась гиперкоррекция всякого высказывания, теперь он штудировал словари, заучивая перед сном по странице, чтобы на следующий день со снайперской точностью парировать любому. Даже с задней парты, с расстояния в двадцать шагов, точно охотник за пушиной – в беличий глаз, бил без промаха в десяточку учительского зрачка:

– Не в бровь, а в глаз, Марьиванна, – пояснял он русичке свой ответный выпад.

У него были математические способности, но к завершению школы он зашёл уже слишком далеко, и лингвистическому Робин Гуду, готовившему месть целому миру, было не до них. Опечаткин решил стать корректором.

Большинство из того, что попадало на корректуру, было сухим, неживым материалом. Очень редко встречались хорошие, «неслыханные», как он называл, вещи. Само слово «неслыханный» выглядело как белоснежный яблоневый цвет: распустившаяся чашечка цветка, поддерживаемая тёплым воротничком листка, а внутри неё – нежная, как женское веко, начинка лепестков.

Он сразу чувствовал хорошие стихи, уяснив для себя, что в настоящей поэзии должно быть приключение, жюль-верновские замашки осуществить кругосветку и подвиг во имя всего, будь это любовный жанр, в котором путешествие совершается внутри влюблённого сердца, или гражданский поединок «против мнений света».

В любой текст он проникал, как крот, влезаящий в своё невидимое королевство в наугад взятом месте сада, которым для него теперь был любого вида дискурс, – необязательно в начале, с разрытых краёв: умел находить краеугольный камень, открывыряв его, обрушивал всё здание, и по-бульдозерски перепахивал статью, библиографию, роман.

В свой первый *опыт* он впал не сразу, хотя что-то такое к нему прикоснулось, но он, огрубев от своей автослесарской должности откидывать капоты, разбирать и исправлять механику текста, в тот раз оборвал синтаксически длинную мысль, которую вела швейная машинка авторского стиля и пунктуации, и ушёл пить кофе. Закончил он чтение под утро, уже дома, дрожа озябшей поясницей и спиной, по которой волокнисто подрагивали мышцы.

Была розовая акварель высоты, воздушная Венеция, и он почтальоном на велосипеде инспектировал многоярусный, многоэтажный город, островами плававший над рогаликом морского залива. Здесь было много высот, много городских уровней, среди которых раскачивались сады, колониальная архитектура Южной Америки, шести воздушных причалов –

к ним крепились летающие корабли. Тут был тихий уровень, и ветренный уровень, и уровень сыпучих облаков. И он с мольбертом и красками взбирался на подножье заброшенной библиотеки, возле исхода лестницы в небо, сопровождаемой статуями афинских академиков, и рисовал, рисовал, с рассвета до полуночи, когда над городом будет изнутри зажжена летающая инсталляция из бумажных фонарей. Он рисовал женский силуэт, который преследовал его взгляд от одного края города до другого, море, ползущее внизу в прилив и отлив, и как приходят в город поезда на многопоточный, железнодорожный терминал с тысячью направлений и выполненный в виде космических куполов венецианского фаянсового Сан-Марко. Он жил там уже тысячи лет, до этого моря, до города, до самого себя.

То было длинное, сложное, со многими главами и параграфами, толщиной в том, задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Впрочем, всё это было зря. Корпение, крепёж зубрёжки. Словари, справочники, синтаксическая тоска. Сократовский демон всё равно улыбался у него внутри. Он был испорчен только на время. А потом его вернули к простоте. Которую иронично называют «врождённая грамотность». Когда он с разбегу ныряет в бассейн строк, чтение не охватывают его сразу, его облекает замедленный воздушный пузырь: строки остановились и ленточно покачиваются, из небесного кузова их выгрузили в океан желе. Пятки у него на воздушной подушке, он идёт мимо и наводит порядок, расставляет вещи по местам, пока не почувствует пресыщения, нужной умеренности в обстановке и простодушной симметрии, которая на самом деле не симметрия, а как будто заранее задуманный узор, испорченный только для виду, будто его испытывают, экзаменуют, и ему надо только устранить разночтение.

3.

В одиннадцатом Николай попал на Сахарова. Сквозь толпу блуждали беспризорные абзацы. Сороконожками перемещались по площади. Коля пробовал примкнуть к ним. Получался инородный второстепенный член. С неопознанным типом связи. Подобная ему писчая канцелярия отсеивалась горсткой одиноких многоточий. Образ, преследовавший его во время собственного одиночества. Было зимнее ярмарочное веселье. Раздавали листовки. Воспроизведённые на туалетной бумаге мягкие госдеповские банкноты щедро отматывали из рулона. Раздавали фрагменты той самой белой пустоты, от которой у него холодел и онемевал язык: круглые значки, белые ленты, шириной с книжные поля – готовый отрез для записи маргиналий. На далёкой сцене невидимый голос менял маски, переодетый в разные обличья. Выходило не очень правдоподобно. Как в спектакле. Из-за ширмы выскакивает актёр, после него другой, а, может, на самом деле тот же самый, но за кулисами ему подтягивали или ослабляли голосовые связки, подкручивали пружинку механизма, чтобы он энергично двигался, аффективно кричал и угрожал кому-то невидимому, – другому голосу, который молчаливо нависал над всей площадью.

Выступал Каспаров. Далекое не по-шахматному, эмоционально и, Николаю показалось, спекулятивно. Выступал Удальцов. Выступали другие. Навальный тщетно пытался разогреть толпу и звал идти «разобрать Кремль по кирпичику», народ, смеясь, отвечал на это «не-е-е-ет», как будто вступал в детскую драматургию, где на вопрос правого полухора «Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите?» левый полухор должен был ответить «Да-да-да!», а вместо этого отвечал «Да ну что вы? Нет-нет-нет!»

На сцене показывали Собчак, выскочившую в амплу душевной с минимумом макияжа девочки-революционерки, на которую из толпы посыпалось прозвище «племяшка». Выступление Кудрина вызвало недоумение – с момента появления до ухода: с толпой надо говорить по-другому: короткими, народными словами и выражениями, а не так, как будто даёт интервью. А он и здесь давал интервью – тихо и корректно.

«Почему они, как нянечки в детсаде: уговаривают съесть кашку? Почему обращаются так терпеливо, заигрывающе, как с детьми? Почему не заговорят по-взрослому? Почему без спроса не берут за шкирку, не наглеют наглостью власть имущих», – думал он.

В общем, как на всё это смотрел Николай и по его отстранённому мнению, в которое он поместился, как в привычный корректорский пузырь, всё это выглядело неважно и неубедительно. Не было генеральной линии, железных кавычек, которые схватили бы разностилевые вырезки – абзацы, периоды, блуждающие строки, ходячие цитаты – и впаяли бы их в единое высказывание, утрамбованный текст, отбросивший всё лишнее, закованный в «железный поток». Здесь не было потока, не было ствола. Была, как он знал по одной откорректированной книжке, «ризом», испещривший пространство плющ, с непонятной «номадистикой», расползающейся гульбищем.

Стотысячная толпа не стала единым текстом, который мог бы заговорить ко своему Великому Чтецу. Масштабом со Время. Корректировать Историю может только сама История. Время – только само Время. А здесь не было ни масштаба, ни Истории, ни Времени.

Когда он шёл к метро, мимо обмёрзшего строя солдатиков, оцепивших расхолодившуюся толпу, и затем уже дома, плывя далеко за полночь сквозь ночные зимние часы, то думал о самом насущном: «что же такое настоящий поэт?»

И всё тот же прицельный взгляд в холку, подтверждал его правоту, мягко уговаривал: это правильно, это хорошо.

«Настоящий поэт должен быть диктатором. Трагически, жертвенно подчиняет себя ритму, правилам, грамматике, которые не дано знать непосвящённому. Он предельно, бесчувственно внимательно следит за жёсткой структурой стиха, за выполнением ритма. Он презрителен к блажи, минималистичен к себе. И только в этом случае, после того как остынет гнев и катаклизм поэзии, только тогда сквозь золу проступит «из пламя и света рождённое слово».

Поэзия перестала быть приключением, заявила себя как долг и организация материи.

Он вживался в роль корректора, и Великий Корректор инжигировал в него свои стальные нервы.

Тем временем случилась Болотная, «народные гуляния» и Оккупай. Характер событий подтверждал корректорское мнение обо всей «этой номадистике». Он сам видел, как началось движение на Чистых: омоновцы с оловянными глазами выхватывали из рассеянной толпы наиболее самостоятельные восклицательные и вопросительные знаки – того, кто казался им заводилой, вели под руки в автозак, а те шли весело, улыбались на камеру, а потом красиво чекинулись в отделениях.



Великий Корректор. Иллюстрация Sen.

4.

В очередной «несезон», когда издательство переключилось на детскую литературу, подсократив штат, он на своём корректорском коньке-горбунке отправился в рыцарское путешествие, проникая орфографическим копьём в палый сумрак варварских королевств и хладнокровно выполняя наёмную работу.

Кафедральный сборник статей по биологии курировала энергичная аспирантка с упитанными щеками, как будто за каждым из них прятался пирожок, и хилым телом, которое ходило в рабах у прожорливого и говорливого мозга: до него не добирались калории и хозяйское внимание. Целый месяц Николай знал её по электронному имени-отчеству, величал на «Вы», пока «уважаемая Вера Павловна» не настояла встретиться и уточнить некоторые моменты.

– Ну что, как поживаете, мистер Бартон Финк? – сказала Вера Павловна. Молодой человек на скамейке, ожидавший встречи, недоверчивым лицом и очками был похож скорее на Шостаковича. Но та со своей расхлябанной образностью накидывала недавние кинопечатления на всех подряд: это она была похожа на непутевого сценариста.

Не было речи о родстве душ, когда два поля, соприкоснувшись, заряжаются друг от друга общими частицами, это больше родство пути, сходство судеб: жизненные вехи и стимулы, которые раздавала им судьба, протравливались в свежем пергаменте одного поколения одинаковым почерком при полной очевидности, что рукописи развивались в противоположные стороны. И в какой-то момент одна линия нависла над другой. Он виделся ей рыцарем-одиночкой с пером наперевес, восстанавливающим занудную грамматическую справедливость, без формальных признаков которой сборнику не обойтись. А она ему – героической хаврошечкой среди уродливых кафедральных тёток: одно-, трёх- и четырёхглазых ботаничек.

Через неделю они вместе ходили на спектакли и концерты. Он подарил ей жёлтые бархатные цветы, синие перчатки, серебряный кулон в форме закрученной лесенки ДНК («Но я же

не генетик, невыносимое ты создание!») и сонник – толковать вещие сны Веры Павловны, которых у неё не было. И тогда в её теле, наконец, произошли приятные изменения, наполнившие фигуру целью высказывания, интонацией, на него сместился акцент и ударение с похудевших щёк, между которыми приючивался короткий дефис рта.

Через полгода во время майского ливня, когда влажную комнату разрывали раскаты ночной грозы, он рассказал ей про поэтов-диктаторов, властвовавших на индонезийских островах во времена сразу за тем, как великое переселение народов перехлестнуло за пределы материка и голубоглазые наследники античности бежали в островные полуджунгли. Раз в десять лет там выбирали царя. И покушаться на действующего диктатора могли только самые отчаянные и талантливые головорезы: в исходе поэтического состязания всех ждала казнь и только одного – корона. Битва подразумевала подготовленное задание: великолепная поэма на свободную тему без рифмы, большое стихотворение о смысле сущего в рифме. И если смельчак побеждал конкурентов, то в последней битве сражался с «королём поэтов»: за одну ночь под звёздным пологом, в виду бессонного дыхания смерти, он составлял идеальное трёхстишие о том, как и что сделал бы в королевстве, заняв трон. Смертельные чтения длились три дня.

«И это не легенда, – говорил Николай посреди барханов постели. Вера Павловна и Николай лежали головами друг к другу, а ногами в разные стороны комнаты. Словно ключи, нанизанные на кольцо совместности. – И не предание. Это философия и политика».

– Я уверен: все истинные поэты – латентные диктаторы. Они либо признают, либо отказываются от трона.

– А я не могу представить Пушкина или Есенина с диктаторской повязкой и усиками. Хотя Маяковского очень даже. По-моему, это графоманы, которые с превеликим трудом куют звенья рифм, вполне годятся на роль диктатора. Выжившие и признанные графоманы, которые доказали свою поэтическую состоятельность вопреки критике и травле, вполне годятся для диктаторского трона. А настоящему поэту лирика дается легко. Как это и должно быть.

– Нет. Поэт подчинён. И сам подчиняет. Это нелегко понять. Но поняв, по-другому уже не сможешь увидеть.

5.

Карьера Николая скоро пошла на поправку. В небольшом издательстве, в которое он устроился с началом семейной жизни, уже заметили, что он даёт безукоризненно точные рекомендации, какой текст будет успешен. Его прозвали «второй после Розенталя» и назначили замом главреда. Благодаря поразительным прозрениям, которые он осуществил за рекордные пару лет, взлелеяв несколько неизвестных авторов, а одного известного подсадив до ступеньки платиновой литературной суперзвезды, Опечаткин, чья фамилия получила культовый статус, добился, чтобы за его родное издательство стали спорить крупные холдинги, перед решающим выбором из которых он вышел в астрал, где держал совет со своими книжными богами, кивавшими в сторону, откуда сулили кресло главреда подразделения издательского конгломерата, возможностью лично управлять политикой издательского импринта, а также персональной красной дорожкой в совет директоров холдинга. И он на это подписался, и лучше выдумать не мог.

Генеральная деятельность очень молодого для своей должности Опечаткина, выполнение им организационных, координирующих движений, похожих на шаманство, колдовство беззвучного дирижёрства, пассы, элегантные па, перелистывание масок перед директоратом и посольствами, – всё это оттеснило его от тела текста, которое продолжало двигаться за окном в историческом масштабе современности. Конечно, он был в курсе всех главных публикаций издательства, но далеко не все обладали волшебством погружения. Впрочем, как и во времена корректорства. Новости книжного рынка, часто смежные слухам, оповещали, что некоторые из книг, отвергнутых им в прошлом, ещё в корректорскую эпоху, выходили в других издательствах и были успешны. Но он честно отвечал себе, что не испытал в них *опыта*, что это не его

тексты, в них отсутствовал «священный омфал», «точка монтирования», магнитившая вокруг себя весь материал и удерживавшая внимание во время бешеного вращения центрифуги слов.

В укромной лунке жизни, где было удобное кресло с высокой спинкой, возле абажура, он собирал коллекцию *опытов*. Классика, книги эпохи корректорства, замовства, давно и недавно изданное, документалистика, технические рукописи, которых было не так мало, написанные намного лучше большинства хвалёных лауреатов и бестселлеров. Он путешествовал между ними, переходил через царства, опережая реальность на неопределимо сколько шагов. Но новых *опытов* уже давно не было.

«Белый холодок» на губах сопутствовал взгляду в затылок. Или в уголок глаза. И Опечаткин придумал этому снисходительное объяснение: на самом деле это ты сам из своего будущего вспоминаешь именно этот момент жизни. Таким образом происходит соединение времён, звенья мгновенных состояний защёлкиваются в цепь целостной личности.

Рукопись, которую принесли несколько недель назад, которую перемещали из одного отдела в другой, отвергнутая и вновь принятая, и снова подвергшаяся недоверию – он сам перекладывал её в разные места квартиры. И когда отпуск подходил к концу, а Опечаткин по утрам ещё крутил педали вокруг Женевского озера, она лежала у него в номере на кровати, посетив до этого десятки мест. И теперь решительно добралась до него. И он, глянув на неё в упор, обещал покончить с ней сегодня же. После прогулки сел в уличном кафе, заказал гляссе, посмотрел на безоблачное небо слева от панамы тента и перелистнул сразу три страницы.

Он всегда поступал по «корректорскому принципу»: просто есть правила, по которым либо правильно, либо это просто ошибка. Он есть безучастный шаблон для исправления, механический трафарет закона. Ошибку следует удалить.

6.

Прорвавшись через палимпсесты деепричастий, Николай бежал среди усталых, грязных, раненых, окровавленных людей. Запах гари вьелся в его оборванную одежду, волосы, пропитал кожу, запёкся в кровавых рубцах, доносился слепыми раскатами с обмелевшего разлива вчерашних небес. И это был запах битвы и поражения; и так пах ужас. Сзади догорал закат мира. Извержение вулкана, восстание рабов, вторжение варваров, солнечное затмение и сумерки олимпийских богов. Измождённая, чадающая страхом и тупым, кровавым запахом толпа остановилась перед рекой. Здесь был короткий привал, для кого-то последний: треть рассеянной по голому, каменистому берегу людей, остановившись, уже не могла подняться и осталась умирать. Остальные перешли вброд мёртвую, ночную воду и потянулись в горы. Рассыпанная по разлому долины толпа, словно кровавая рана, шла вверх и вверх, никто не останавливался надолго, не разводил огня, не разговаривал, не помогал другому. Не оглядывался. Спина каждого чувствовала приближение погони и помнила тяжёлый, обжигающий удар катастрофы.

Чёрные, измазанные пеплом лица отворачивались друг от друга, во взглядах застыло одиночество и ужас растерянности.

Он должен помочь, потому что единственный мог это сделать. Он остановился, сзади на него наткнулась грубая, тяжёлая ладонь и ударом в плечо убрала с пути. Он ровно, глубоко вздохнул, развернулся и посмотрел на угрюмых, бредущих на него людей. Толпа расступалась и, опустив глаза, обходила торчащую человеческую оглоблю. Все они были слишком заняты внутренним ужасом.

Он увидел человека с изувеченной ногой, отталкивавшийся палкой и здоровой ногой, чтобы идти. Взял его под руку и потянул за собой. Надо подняться чуть вбок от широкой ложбины, чтобы оказаться под стеной скалы. Кажется, там должно быть удобное и уютное место, закрытое от ветра. Укромное. Они добрались и припали спинами к камню. Отдышались. Человек с благодарностью посмотрел ему в лицо, но не смог улыбнуться. Заискивающее виляя хво-

стом, приبلудила собака. Спина и одно ухо чернели подпалиной. Она посмотрела на них и прилегла возле ног.

– Нам надо продержаться эту ночь, – сказал Николай. – Завтра мы дойдём до побережья. Там ждут корабли.

– Люди... – сказал, задыхаясь, человек, – они могли бы к нам прийти... разве они не знают о нас?

– Они сами боятся и готовы в любой момент отплыть.

Собака насторожилась и, шатаясь от усталости, встала, глядя вниз. На дне долины, за рекой появились всадники. Они настигали оставшихся там и добивали их. Слабые крики едва доносились сюда.

– Надо спрятаться, – сказал Николай. – Это единственный шанс.

Они перебрались на другую сторону скалы. За ней открывалась небольшая площадка: можно пройти дальше, обогнуть горы и спуститься к морю. Из толпы их заметили, и скоро присоединилась целая группа, разгадав спасительный замысел. Собака суежилась под ногами, боясь пробежать вперёд. Её отогнали, чтобы она не навела на людей всадников: глухо прикрикнули, кто-то бросил камень. Она, опустив голову, устало потрусилась туда, куда шла толпа – в ущелье. Всадники форсировали реку, и их силуэты уже чернели по эту сторону реки.

«Вот как было на самом деле, – думал Николай. – Опалённые троянским огнём, жители бежали от ахейцев через горы. Чтобы найти спасение в лесах и приречных долинах. Корабли давно отплыли. Никто их не ждал. Спасти можно только малыми группами. Всё внимание оттянет на себя большая, обгоревшая толпа, которую искромсают всадники».

Как только небольшая горстка людей отошла на безопасное расстояние, из-за скалы, от которой они повернули, появился огонь. Это всадники. Огонь погас, и в вопиющей темноте безжалостными эриниями во все стороны понеслись стрелы. Они настигали, впивались в беспомощную плоть, выдёргивали в пропасть. Терзали тех, кто ещё сопротивлялся. Обгладывали, дожирали и, хватая когтями, уносили в ночь. Многие, кто пошёл по этой тропе, погибли. И всё же было ещё немало живых, едва укушенных ядовитыми резцами эриний. И они продолжали идти, и Николай помогал им подниматься, возвращался, ставил на ноги, сводил вместе двух-трёх одноногих и вёл дальше, подбадривая, похлопывая по спинам, плечам. Они уже далеко ушли от скалы, не заметив, как тихо, крадучись подъезжал всадник. Он держал меч наготове, дожидаясь, пока горстка покалеченных выйдет на широкое место, чтобы там, разъезжая между ними, разрубить потёртые нити их жизней. Кто-то успел его заметить, и тогда всадник напал. Николай схватил камень, бросил ему в грудь, но попал в голову коня. Тот зашатался и, заплетаясь ногами, стал падать. Все, кто могли, схватились за камни, и через минуту разбитое, разломанное тело человекоконя лежало, перегораживая узкую над пропастью тропину. Николай, последний раз обернувшись, увидел мерцающий над бездной в капле слезы глаз умирающего коня. Он словно отдельная, выступающая из всей неразборчивой туши, деталь.

Когда они только стали спускаться, рассвет пришёл по эту сторону перевала. И, не смея глядеть людям в глаза, всё-таки давал им надежду: далеко-далеко, зажатое горами, приобнятое заливом и растушёванное в брезжущем небе, слабо светилось море. Кто-то тихо, сухо воскликнул. Безголосо. Только сейчас Николай подумал, что такого с ним ещё не было. Чтобы внутри *опыта* он вступил в контакт с людьми. Шёл и страдал внутри вымышленного мира. Жил так, как никогда не жил наяву. По ту сторону текста. Он почувствовал головокружительный, радостный, горячий напор жизни и счастья. Он выжил сам и спас людей. Звук повторился. Руки, поднятые человеком, опали. Это был не восклик. Это был клик, всхлип ужаса. Спуск долины усеяла окровавленная, избитая, полностью изничтоженная толпа. Люди, размётанные, раздробленные, разбросанные, расчленённые, спали смертельным сном. Тени эриний носились над ними.

К ноге Николая допрыгала хромая собака. Посмотрела в глаза. Завиляла переломленным хвостом.

Пошёл слабый дождь. Так море звало их к себе.

Лес, казавшийся с высоты негустым, полупрозрачным подлеском, обратился в непроходимые джунгли, разрезанные оврагами и начинённые жёлтой влажной духотой. Горстка людей, ещё шедшая, рассыпалась и валилась к земле, и было непонятно, как они ещё жили и двигались: с обрубком конечности, мотававшейся в перекрученном рукаве, с неживой нижней частью тела, которая волочилась за руками, обхваченными вокруг чужой шеи; разрубленные на геометрические части и резанные пополам; шаткая, истончённая до опалубка скелета фигура с раскроенным черепом и скошенным глазом. Николай замер, потерял дыхание, ужаснулся.

Они шли и шли, и навстречу им потянулись разрушенные лесом и ветром лачуги, согнанные в посёлок, завёрнутый в паутины рыбацких сетей. За их лохмотьями дождь пошёл сильнее, сквозь ливень завиднелись бараки – то ли лагерь беженцев, то ли военнопленных. Все, о ком помнит и знает миф, давно подняли паруса, исчезли за горизонтом, направились в сицилийские и черноморские чертоги, основывать Рим, закладывать новые цивилизации, а эти люди, беженцы, брошены здесь навсегда на погибель и вымирание.

За его спиной остатки людей окаменевали, превращались в статуи с отломанными руками, отбитыми носами, в поваленные одноногие, безногие мраморные обрубки. И с самого начала, подумал он, они с самого начала и были такими: черепками, еле подрагивающими артефактами.

К его ногам снова притёрся ослабевший пёс. Вода хлестала на него сверху и снизу, из грязных, известковатых луж, куда он через шаг проваливался. Николай взял его на руки, – дрожащие лапы свисают, – и так пошёл – через жуткую улицу между обваленными, призрачными домами.

С одной стороны жались группками: мужчины в пухлых куртках и шортах, в трениках, дешёвых пёстрых футболках, в кедах на босу ногу – небритые, невыспавшиеся; женщины – в платках, со спутанными, сухими волосами, лицами без косметики, в глухих кофтах и балахонах в пол; дети – в засаленных рубашках, тонконогие, с фиолетовыми кругами под глазами, другие – любопытные, навязчивые, раздражённо, психованно бегающие в толпе. Они стояли на углу барака, спиной к нему, перед тем, что окружили: на треть зарывшись в песок, лежал погибший сирийский мальчик на берегу огромной лужи. Микенцы-полицейские оттесняли молчаливую, напирющую толпу, нависшую над пёстрой детской майкой и штанишками. Раздались автоматные выстрелы, и группа кучерявых, темноволосых подростков бежала за светловолосой девушкой, задыхавшейся, падавшей. Один снимал преследование на смартфон. Другой, разорвав на ней блузку, делал селфи. Подбежавшие стали зажимать ей рот, прижимать растопыренные, напряжённые ладони к земле и по очереди делать селфи на фоне её заплаканного, красного, синеглазого лица.

С другой стороны улицы за колючей проволокой гряда человеческой стены – лица, лица, страшные глаза, в ладони впились металлические занозы, голые, грязные ноги, оборванные полосатые робы, смертельная худоба – спрессованная, раскатанная на целую милю увеличенная чёрно-белая фотография концлагеря, которую с одного края, упираясь в землю, поддерживают своими телами надзиратели, вертухаи с собаками, с другого – на фотографию наезжает бульдозер и кладёт щиты лицами в землю. И сквозь ливень слепит до бесцветности яркий прожектор с вышки. Немецкая речь, ломаясь, треща радиопомехами, переходит в автоматную очередь, захлёбывающийся лай овчарок. Мелькают огни трассирующих пуль, красные нити лазерных пушек, пересекая которые, падают, сгорая, подкошенные, обезглавленные киборги. Под металлической ступнёй робота лопается человеческий череп. С кипением воздуха барражирует поисковый катер скайнета. Вспышки огня гасят день, на месте ковровой бомбардировки, вспухая, гонят взрывные волны ядерные грибки размером с дерева. Через мгновение виде-

ние концлагеря и лагеря беженцев краснеет, дёргается, вспучивается, как химическая слюна горячей фотоплёнки, из багряных, фиолетовых клубов вырываются стада зверей, рассыпаются сквозь ядерные джунгли; фаланги македонского войска ложатся под перекрёстным огнём автоматчиков вермахта; олимпийские боги прыщут перунами в корабли инопланетных захватчиков; наперегонки мчатся колесницы, спортивные болиды, длинноногие андроиды; египетские жрецы перед каменным алтарём пытаются искусственный интеллект о будущем урожае; неандерталец с пучком травы подходит к обрыву и, не понимая ничего, наблюдает изумительную панораму опустошенных материков; пригибаясь под сиреновой метелью ядерной зимы, бредёт стайка людей – спасаться от радиации в бункере из бабушкиных легенд – Большой адронный коллайдер.

«Крабы, рыбы, чайки, совы, мыши, змеи, рыси, волки – все придут ко мне, – как заклинание, произносит женский киберголос радиационной тревоги. – Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды...»

Николай бежит через огонь, придерживая голову псины рукой, бежит сквозь ужас, сквозь книгу джунглей, наравне с говорящими львами и птицами, на микроскопические головки которых пристёгнуты шлемы с речевым синтезатором. Пронесётся реактивные самолёты, внутри них в авиаторских очках за штурвалом лабораторные крысы. Всё это ядерное марево несётся мимо горящих городов, разверзшихся кальдер, в босхианском пламени которых присели покурить покинутые падшие ангелы: греют тонкие ледяные лапки, вялят тушки саламандр, обжаривают трансформаторные провода, накаляют наконечники боеголовок. В небесах над ними тлеют разбитые планеты, погибшие звёзды.

«Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. – Продолжает женский киберголос. – Общая мировая душа – это я... я... Воду, воздух, камни, травы, соки, пламя, снег и сосны поднесут мне».

Николай понял, что он и есть та самая общая мировая душа. Когда никого не останется, сознавать всё это, видеть внутренним взглядом, немигающих глаз которого не отвести от того, что осталось от мира, – вот на что он обречён. Вот они, новые танталовы летеиские муки. Фантасмагорический ландшафт Елисейских полей. Вот они какие на самом деле. Моя душа – Элизиум теней...

Он бежит, его нагоняет мотоциклетка, он оборачивается, из её лодочки привстаёт фриц с обвязанной шарфом головой, выпускает ему в грудь толчки пулемётной очереди. Пули разрывают собаку, секут его лицо, жужжа, уносятся вверх. И он бежит под жестоким, ледяным, голодным ливнем. Сутки, двое, ещё ночь, пока не падает на колени, обессиленный, с клочками шкуры в руках. Перед ним бетонная стена – длиной во весь горизонт, уходящая в небесную пустоту.

Шеренга надвигается. Они чеканят шаг под июльским полднем, взбивают лакированным сапогом степную пыль. Потревоженный неровностью ландшафта строй останавливается, раздаётся команда, строй замирает, целится. Оглушительный выстрел. Штыковая атака. Пули, штыки вонзаются в него, строй проходит через него и дальше сквозь белую, безликую, бесконечную стену. Он падает, он лежит, истекая кровью, и смотрит в древнегреческое небо.

«Здесь буду лежать и я... здесь буду лежать и я» – повторяет герой книги.

7.

Веры Павловны не было дома. Её не было нигде. Вернувшись из отпуска потрясённым, Николай не замечал этого два дня. Опустив чемодан на пол пустой квартиры, он поехал к старому другу, он поехал на получужой банкет, он попал на дачный корпоратив знакомого издателя, очнулся перед зеркалом в туалете: лицо и глаза, за спиной музыка и пьяный смех. Добрался, ковыляя по сугробам, до трассы, поймал машину, и полночи его возвращали в далёкий город, из которого он продолжал бежать, словно из подсознания.

На вопрос «Ну что, берём?» он впал в ступор: армия всадников и мотоциклетов, уходящая в бетонную стену, двигалась за окном. Он пришёл в себя через пять минут, неопределённо махнул кистью ладони. Зама рядом не было. «Пусть придёт автор. Надо поговорить», – ответил он паллиативом, выглянув из-за двери.

«Чувство белого», этот «сопутствующий газ» внутри *опыта*, вышел теперь в сконцентрированном виде. Опечаткин понял, что означает это *белое*. Эта безликая белая стена в огромном и прекрасном тексте – забетонированная пустота, которую он пытался обойти в одну и другую сторону. Она въедалась в пространство, выедала его котлованом, заполненным антиматерией, которую невозможно пробить. Это то, что он никогда не сможет понять. Может быть, нечто совершенное. Нечто настолько свободное, вне его корректорского мышления, что он не способен это даже помыслить. Это был вызов, отрицание его правил.

Автор, похожий на длинноволосого Чехова, с элегическими длинными пальцами и колючим взглядом, который он никогда не направлял на слушателя – боялся им впиться, и потом его трудно выдёргивать из собеседника: обязательно останется рана с сукровицей. Опечаткин разговаривал в основном с его профилем.

– Но вот вы там пишете... эта сцена с избиением младенцев.

– Да... ну и что...

– Чернокожие младенцы... политкорректность...

– Откуда вы знаете, что там было? Вы же там не были. Ничего не видели.

Опечаткин порывался ответить, вскочить, раскрыться: был, был и ещё как видел! Вы сотворили прекрасное, аннигиляционное чудовище!

– Предание ничего не говорит о цвете кожи младенцев, которых изничтожил Ирод. Значит, я могу домыслить, исходя из художественной задачи. Мы играем не с фактом, а наравне: вымысел с вымыслом. В литературе возможно всё! Вообще!

– Но это беззаконие! – Да, Опечаткин имел в виду свой жестокий фантазм, свой *опыт*. Автор же говорил о непосредственном содержании книги. О сюжете, о героях. Он вообще не в курсе того, что испытал корректор.

– Да. Беззаконие. Ну и что. Это свобода. Пусть заглавным будет эстетический импульс, который организует вокруг себя материю.

– Значит, вы говорите, язык – это закон, а литература – использование его, закона, в своих целях, как средство, возможно, даже не по назначению? Это материя и антиматерия!

– Видимо, да... – отвечает автор беспечно. – Но они стоят друг к другу спиной. Так и держатся.

– Но эта стена...

– Какая стена?

– Ну, белая...

– А, пустая страница?..

Опечаткин не заметил, что он, раскрасневшийся, стоит перед автором и, перевесившись через стол, показывает место рукописи, где в неё вставлен полностью чистый лист. Тот самый пробел, котлован пустоты, в который он упёрся перед расстрелом.

– Вы должны её убрать.

– Попробуйте. Всё рассыплется.

Опечаткин остыл.

Под этим предлогом и не взяли: автор слишком несговорчив.

Белый, пробельный лист до небес во все стороны, – непроходимая стена между Опечаткиным и свободой, творчеством.

Да, был «поток», у книги должен быть успех. Но Опечаткин служит Великому Корректору. А этот текст – сосредоточение того самого ничто, которое Корректору не может понравиться. Он и сейчас смотрит ему в холку. Есть правила, есть ошибка. Корректор оперирует

правилами, ошибки он устраняет. Поэзия – чистый язык Великого Корректора, диктаторский, безупречно справедливый. Но последний случай показал, что поэзия и проза проистекают совершенно из разных источников. С первой всё ясно. А проза... она от древнего, получеловеческого ещё инстинкта предвидеть, перебирать множество комбинаций всевозможного будущего. Если раньше Опечаткин думал, что писатель в пределе, в идеале – великий стратег, то теперь разоблачил в нём садиста, психолога горького опыта. Чтобы познать героя, писатель раздевает его, сажает, оголённого, связанного, под ледяной душ, избивает, изувечивает – и наблюдает, изучает. Ощупывает глазом. Опечаткин не мог это принять. Это было его великим откровением, великим *опытом* и болезненным прозрением. Он отказывался принимать такую литературу за средство упорядочивания мира, он отвергал Литературу ради Языка.

Который есть всё.

Вера Павловна не провожала его перед отъездом, как бывало раньше. Отклоняла предложения ехать вместе. Ссылалась на плотный лекционный график. Конференцию. «Кураторские погоны», как она шутила.

В их интимный микромир редко проскальзывали сквозняки *опытов* Опечаткина, рассказов об этих корректорских снах наяву. О том, что он сам когда-нибудь напишет книгу, даже две. Потому что в ней будет второе дно. Книга реальная и книга невидимая. Ведь он досконально знает весь фокус, секрет, который скрыт даже от авторов. Снаружи это лёгкая, изящная, легконогая баллада о нашей жизни, о быте и мечтах, о времени, взрослении, опыте и невозможности противостоять возрасту. Классический роман. А на поверку – тщательный психоанализ, во много подходов апробированный *опытами*.

Вера Павловна бывала недовольна им:

– Ты собственное мнение подменяешь мнением и практикой корректора. О чём ты говоришь? В книге должна быть свобода. А у тебя признаки диктатора, воспитателя.

– Помнишь, что я говорил про поэтов? Только он умеет подчиняться языку.

– Да! да! да! да! – ссорилась Вера Павловна. – Оппозиция – это шум, беспорядок, бестолковые перемещения абзацев! Ты сто раз это говорил! Про текст, который сложится в единую книгу. Про своё мнимое единомыслие. Про закон правил, справочников, грамматик.

– Но, миленькая, – шутивно заискивал Опечаткин. – Что ж поделывать-то? Я так создан. Я так вижу вещи. – Он подходит к зеркалу. Обводит в нём абрис Веры Павловны. – Миленькая, даже тебя я вижу как конструкт. Запятые кудряшек. Скобки щёчек. Длинное тире улыбки. Двоеточие глаз.

– И ноздрей, что ли? – вздорно, насмешливо говорит она, ухмыляясь, и, хлопнув дверью, уходит.

А что он ещё может сказать? Этот вечный укор. Эта вечная необходимость соответствовать. Холодящее присутствие «затылочного» взгляда.

Вера Павловна больше не будет конструктом.

Вера Павловна ушла от Опечаткина.

8.

Зато теперь он был опытнее. Едва завидев нечто белесое, слишком пустое и свободное в тексте, он выходил из *опыта*, задержав дыхание. словно нырял в повседневность, где плотность существования фильтровали совсем другие жабры. Он бежал – и многократно – из таких текстов. Предпочитая им благонадёжное, правильное и скорее технически безликое, как в том далёком ТЗ, полным гармонии и сладкой сказки. Всегда-то-что-надо. Величие наслаждения. Ведь правда же, в наслаждении есть нечто пафосное, ощущение великого...

И было в этом наслаждении чувство генерального плана, который вершится через него, Опечаткина, и через его издательство, и книги, в которых Язык победил Литературу, а Поэзия, выкованная грамматикой, сомкнулась с политикой.

Когда ему сообщили, что готовится разговор с неким «юридическим лицом» о том, чтобы Опечаткину возглавить главное информационное агентство, он даже не усомнился, чьих это рук дело. Он давно на счету, на вооружении, он давно служит «корректорскому принципу»: есть правило и есть ошибка, ошибку он устраняет. Его повышение необходимо самому Великому Корректору. И он долго готовился к разговору в приёмной, с ещё более преклонённой головой подчинялся взгляду в затылок, строил поэтически идеальную строфу, которую надо произнести.

И наконец, когда его пригласили, и он ждал несколько часов за кулисами, а потом короткий жест, чтобы он быстро подошёл и стоял в трёх метрах от кулис, он так и сделал. И тот человек, закамуфлированный под «юридическое лицо», стоял в полутьме, были видны только его ботинки и края брюк. Он тихо сообщил из темноты – в таком ключе, будто Опечаткину об этом ничего не говорили, то есть повторил всё то же самое, что ему излагали много раз. Даже точно такими же рифмами. Но это так и надо было. Это по правилам. Это слова из параграфа. И Николай, перешёлкивая слоги, гладко и точно продекламировал то, что от него хотели услышать. Ту самую выношенную идеальную строфу. Но он и не кривил душой. Он сказал о том, что знал: о пустоте, о чувстве белого, о беспцельных блужданиях абзацев, которые есмь только воздух, облака – а засим возможность, но никогда не текст. «Правильно», – мягко говорят ему. Хорошая строфа. Хороший ритм. Безупречная пунктуация. Он в нужном тренде. Он получил эту работу.

Их диалог длился не более пяти минут.

9.

Николай Опечаткин. Заслуженный корректор. Идеальный послужной список. Максимальные заслуги перед Языком. Обладатель номер один Ордена Великого Корректора. Ни разу не поступившийся «корректорским принципом». Заменявший жизнь долгом. Дольше человеческого века стоявший на службе словарю и грамматикам – гражданской, трудовой, семейной, уголовной. Теперь ему сто двадцать. И он живёт в мире запахов и духов.

Он пережил мир людей. Вся мировая литература, надиктованная на цифровые бобины, по единому щелчку приходит в его слух. Он живёт внутри избранных *опытов*, очищенных и проинспектированных. Теперь это не отдельные островки, между которыми лежит немота отсутствия. Это бескрайняя, перекрытая мостами и тихими паромами в туманных речных областях, провинция Вселенной. До которой добраться может только он один. Никто больше не одарён такими *опытами*.

Он построил воображаемую библиотеку, куда никто другой не вхож, даже приглашённый. Он мимолётно пробегает залами Ласко, пещерами Лувра, перепархивает по веткам в ватиканских садах, шествует через Адамов мост к своим любимым поэтам-диктаторам, восседает в судейской ложе. Он принял новое имя – беззвучное, ненарицаемое. Карта миров устойчива, точно закреплённые сновидения запахов. Он знает все двенадцать сторон света. Помнит безымянные страны и моря. И среди них есть много таких, где остаются целые пустоши свободы, там обитают неопределённые души. И однажды он вступает с ними в разговор. Он говорит: вы – малочисленная секта. Ваша ересь – быть пустотой. Ибо только так вы исполняетесь. Вы должны покинуть мои пределы. А они так сумрачно, так тихо запутывают диалог, что незаметно он попадает в сети их текста, бесконечно рыхлого и свободного и долго следует за их процессией, пока не забывается и становится одним из них. Он идёт за ними всё дальше и дальше и уже не может возвратиться. Он помнит только, что ему всё время хочется оглянуться. Туда, откуда тянет холодком. Но куда ни оглядывайся, не найдёшь источника взгляда. Они называют это «невидимой Эвридикой», то, чего не найти. А сами они – «невидимые орфики».

«Я знаю – вы заблудшие души» – он сидит среди них и, посмеиваясь, раскачивается в позе лотоса, пока они чистят кукурузу и пойманную рыбу.

«Вовсе нет, – говорит один. Волосы его завязаны тугим узлом на затылке. Икры ног длинные и похожи на амфоры. В полупещере с высоты вьётся светлый водопад. – Но зато ты на самом деле математик и поэт».

«Как же так?»

«А ты им должен был стать. Эвридика. Помнишь? А ты пошёл против мира и против себя. От обиды. Но зато освободись сейчас».

Он, раскачиваясь, наблюдает, как орфики готовят на костре еду; во влажном воздухе множатся звуки, водопад сладостно нисходит прядями; надавишь на прозрачный песок – и он матово темнеет.

«Если я оглянусь сейчас, то увижу свою Эвридику?»

Не ответили.

«Кто же моя Эвридика?»

Не ответили.

Он вспомнил прежнее имя – Опечаткин. Не только тот, кто делает опечатки, но и кто сам возник как опечатка. Он встаёт с матово темнеющего песка, он должен искать, потому что опять в висок подул этот пристальный взгляд.

И с тех пор он ищет. Какая глупая судьба! Опечатка при выборе. Поэт – вольность, белый взмах, непокорность, а не служба; вызов, а не механизм исправления. Этот взгляд – Эвридики, а не Корректора, поэзии, а не диктаторства.

И с тех пор он ищет. В средневековом городе. Собор ещё только начинается. Он носит раствор и взбегает по реям лесов и бродит по рейнским лесам. Беседует с мастером. Тот показывает, как рисовать крыло. Обязательно голубиным пером. Он ищет для мастера лучшие из них. Среди леса поляна уходит вниз, в ней дневная, светлая, заросшая пещера, в провале которой, словно этажерка, словно перевёрнутое отражение в луже, небесная Венеция. Он спрыгивает в пещеру и оказывается на самом верхнем уровне, куда он когда-то так и не смог взойти. Здесь обветренная ветряная мельница. И словно старое, поеденное молью пальто, большой заваленный сарай, с прорехами в стенах, истлевшей матерчатой подкладкой, а на верхушке – пушистая, перемолотая в лёгкое, порушенное сено, опушка воротника.

Он спускается уровнями ниже и мальчиком, взбивая над клеткой площади голубиный осадок, бежит по улицам воздушной Венеции.

«Сколько их было, таких Венеций? В книгах, которые я не признал. Венеция не имеет никакого практического смысла, приходит из ниоткуда, тонет в воде. Остаётся под водой и отражается вверх, под облака. Это она и есть – запрещённая невидимая Эвридика, которая, наконец, выслеживает и исправляет меня как мелкую, случайную, беглую опечатку»

СМОТРИТЕЛЬ ТИШИНЫ

Дед Никита жил на отшибе. На высоком весёлом пригорке в девятнадцатом веке здесь была дворянская усадьба. Потом большевики свезли сюда со всей округи недобитые пережитки царского времени и организовали музей крепостничества и старорежимного быта. В перестройку двухэтажную усадьбу обратили в дачу председателя облсовета, а Никита Ильич, совмещающий должность музейного смотрителя, стал сторожить этот тихий, полулесной домик, сказочно преображавшийся на уикенды в партийный шалман.

Дед Никита знал: здесь клеймёное, колдовское место. На закате Союза председатель соседнего колхоза, дородный, смурной казнокрад, семьянин и взяточник, после бутылки коньяка потерял человеческий облик, приставал к поварихе, рассеял китайский сервиз в пыль, обратился в свинью и бежал в лес. «Малиновые братки», собравшись здесь на новогоднее политбюро, делили общак подмятой под себя конкурирующей группировки, в результате прокуратура ещё полмесяца собирала по лесам разбитые, обезумевшие остатки честного собрания. В разгар пьяного дележа они, чернея и тлея, с воплями выбежали из дому и больше их никто не видел.

Металлургический олигарх, купив это место в конце девяностых, спешно вывез сюда московское имущество. Несколько квартир и два обанкротившихся банка. Через месяц нагрянувшая прокуратура тщательно общупала каждую из десяти комнат, перебрала по камешку подвалы и дореволюционную брусчатку дворика, но ничего не нашла. Включая самого олигарха, который, по слухам, спонсировал разработку телепортации в одном захудалом НИИ и, наверное, добился-таки своего: проткнул пространство и сбежал в параллельные государства.

И только дед Никита оставался самим собой, знал каждый закуток и молчал в тихую седую бороду, даже когда федеральный следователь, ведший дело, лукаво угощал его тосканским вином двухсотлетней выдержки, закупоренным во времена Мадзини, Леопарди и Паганини.

По ночам он просыпался и чутко прислушивался, как в окрестностях усадьбы бродит сонный зверь – мохнатое, чёрно-бурое пятно, тонконогое ходит олень, переступая через кусты, как лесная кошка забирается на чердак и сворачивается в клубок среди сборов ароматных трав, постеленных там в сельскохозяйственные шестидесятые. Слышал дождь, который казался ему ливнем из золотых монет, звеневших по камню дворика, слышал костяной постук первых снежинок по стеклу, слышал осеннее голошение ветров, а в самую глубокую ночь, до того мёртвую и вымороженную, что весь мир кажется колодцем, вытянутым округ своего дна – луны, – в это время дед Никита слышал шевеление камней в земле и воздушное сообщение подземелий между собой – звук, который никаким словом нельзя обозначить, похожий на шевелящиеся всхлипы губ. Тогда он вспоминал, что это, должно быть, время потихоньку перекладывает сокровища, спрятанные в колодце за дальним флигелем. И что сам он вряд ли человек, потому что имел служебное существование: он сторожевой замок прежних хозяев, сложивших во время революционного пожара на пустое дно пещер, прежде водоносных, свои княжеские сокровища.

И в эту ночь он тоже что-то услышал. Но ничего из того, что ему было знакомо. Он лежал в тёмной кровати под лестницей и, сосредоточенно закрыв глаза, мысленно обходил этот звук со всех сторон. Но звук испугался, сделал ложное движение, чтобы отвлечь, а сам впитался в землю. Наутро дед Никита узнает, что это было. А сейчас прислушаться, как за десять далёких вёрст на пристани плещется вода у свай: тихо так, ласково так. Лодки, словно спящие

коровы, сбились стадом у берега. Луна завалилась в подушки облаков. Он воображаемо хлоп мятной водочки и ничком в воображаемое сено. Спааать.

Верно, это был звук начала зимы. Дед Никита знал, что планета, по его представлениям, пересекая календарные границы, может задеть вехи времени. Или это был один из тех странных и неповторимых звуков, которые астрономы с перелыху считают загадочными сигналами из космоса, может быть, даже посланиями от давно исчезнувших цивилизаций. Сторож походил, потоптался по двору, разглядывая первый снег. Он лежал очень легко с неподвластной человеческой руке ровностью. Нигде не было следов звука. Если нет следа, решил сторож, значит, нет воплощённой в материю причины, значит, это бесплотный звук, значит, это знак.

К обеду снег растаял и из ближайшей деревни на старом пьяном грузовичке приполз староватый и пьяноватый Евсеенко.

– Слышь, чё, – сказал тот в привычной ухмыляющейся манере. – Через два дня к тебе экскурсия.

Дед Никита кивнул.

– Слышь, чё, – продолжал Евсеенко, – ты бы хоть телефон себе провёл. А то к те мотаться. Или мобильный. Если чё.

Дед Никита махнул рукой: мол, проводили уже, а потом отрезали. Сам что ли не знаешь?

– Слышь, чё, – Евсеенко криво ухмыльнулся и сказал, ради чего ехал. – Ну ты хоть отсыпь на бензин тогда.

Дед Никита знал, что Евсеенко уже заплатили за поездку, и надо ему было не на бензин, а на водку. Постоял вниз головой и пошёл к дому.

– Всё. Музей закрыт. На ремонт. Ничего не будет.

Евсеенко открыл рот, растопырился в позу «вот те на!», а потом матерно завыл, залезая в кабину: «Ууу, ёёё...!»

К вечеру, заштриховав небо в ученический подмалёвок, уже три часа шёл неумелый, начинающий снег. Дед Никита выпил чаю, посматривая в окно, закутался поглубже в мысли и стал ждать.

Первым пришёл раскосый китайчонок в императорском халате. За ним, застыв в поклоне, следовала процессия чиновников в тёмно-синих сюртуках. Перед собой они несли пышные кардинальского цвета подушечки. Он потребовал вернуть сервиз, подаренный двести лет назад китайским императором. Никита Ильич хотел заметить, не тот ли это самый, который расшиб председатель колхоза. Китайчонок сел на подушечку побольше, подложенную под него и, воспарив на ней, стал ждать ответа. «Приходите завтра, – сказал, пыхтя чубуком, смотритель, – я обдумаю ваше предложение и постараюсь вам помочь». Тут же гром оборвал его слова, молния ударила в чубук, а маленький китаец и смотритель обернулись воинами, стоящими среди степи. Дождь хлестал по доспехам, и в руках каждого поблёскивало обнажённое серебро меча. Как молния, сделал выпад китаец, но смотритель парировал ещё быстрее, на опережение, словно предвидел его. Удар был такой силы, что смотритель, не отрывая ног от земли, отскочил в другой конец степи, оставив перед собой сухую полосу на земле и камнях. Воин моментально приблизился по этой полосе, но смотритель успел провести перед собой черту, и видение исчезло. За окном шумела гроза, снег превратился в ливень, и подступал сырой, дрожащий отрез утра.

В ту секунду, когда дед Никита прикрыл глаз и капля коснулась стекла, и следующую за ней, когда капли уже не было, он испытал короткий сон. На жёлтом облаке ему явился ужасный кардинал с жукообразным телом в коричневых хитиновых доспехах, с шеей, вытяну-

той, как гусеница, в виде телескопически развёрнутых лепестков розы, из сердцевины которых смотрела сонная черепашня мордочка в старушечьем капоре и очках. Черепашка погрозила пальцем и, улыбаясь, исчезла.

Всё-таки ему не давал покоя тот ночной звук, мягкий, впитанный землёй. Сторож натянул глубокие, словно рукава, сапоги, плащ с капюшоном и пошёл посмотреть колодец. Возле него в сумеречной зыби рассвета кружил звериный след.

– Дядя, огоньку не найдётся? – раздалось сзади. Сторож, не оглядываясь, прыгнул вперёд, прячась на другой стороне каменного кольца колодца. Тот, кто это сказал, был связан с мохнатым, чёрно-бурым, который выходил зимой подышать человеческим запахом.

Косматый говорящий зверь сидел вразвалку и медвежьими глазами смотрел на его шею. Большой ленивый тигр с маленькой мордочкой домашней кошки. На изгибах звериного тела бархатно рассыпались по шерсти свежие чёрные полосы.

– Разве ты не знаешь, что у меня больше нет *огня*? – раздражённо сказал смотритель. Он жалел, что не захватил посох. Этот зверь будет поопаснее вчерашнего императорского посла. – Факел с *огнём* остался внутри. И с тех пор горит там. Я его больше не видел.

– Пойди и принеси мне *огнь*, – сказал зверь басом.

Огонь был ключом ко всему. Если поднести его к глазам, станут видны все ходы и лазы, все заколдованные дорожки, запрятанные под свинцовыми щитами входы в колодезные подземелья. Голос зверя был прекрасным, как гром, который усыплял его в детстве. И сейчас мог лишить воли и мыслей.

– Я не знаю, как туда спуститься, – пытаюсь дышать ровнее, говорил смотритель.

– А ты садись мне на плечи, и мы вместе пойдём искать *огнь*, – ласковым, соблазнительным голосом произнёс зверь, словно это была не речь, а симфоническое вступление, в которой певучие виолончели, тихие фаготы и разговорчивые скрипки звучали одновременно.

Смотритель обдумывал и тянул:

– Пожалуй... мне надо захватить в доме перчатки... против *огня*. – И пожалел, что сказал больше, чем надо, что заговорил, что с волнением слушал мощный, прекрасный голос зверя. «Теперь он будет знать, о чём я думаю».

Прежде чем зверь с лёгкостью перекрыл прыжком высоту колодца и настиг его, смотритель всё-таки успел нырнуть в сапоги и оказался на самом дне колодца.

«Рано или поздно это должно было случиться, – думал он, проходя мимо рядов с запечатанными сундуками. – И давно же я здесь не был...» Вот они, те самые звуки, которые он слушал в самый тихий час. Колокольчики ювелирного золота, щебетанье испанской меди, снежное поскрипывание серебряных украшений и шёпот столового серебра. Твёрдое рубиновое отстукивание такта, и прелестное пение алмаза.

Он уже почти не узнавал полуобрушенные проходы, факел давно погас, и он долго-долго искал лестницу, которая вывела его, наконец, к плите, над которой когда-то был камин.

Первым делом Никита Ильич отыскал книгу по толкованию звуков, знаков и голосов. На странице с большим изображением красного дракона из Поднебесной он прочитал: «*Как приходит весна, Дракон стремглав летит в небо. И от этого рождается звук грома и свет молнии. К лету он ищет горы или море, спускается и живёт там семь своих лет; что по земному счислению три круга человеческой жизни. Потом он возвратится на землю. Прикасается к ней тихим, неузнаваемым, беззвучным звуком, с которым движутся молчаливые губы. И если время выпало на зиму, Дракон ищет высохший и глубокий же и длинный коло-*

дец, особенно если в нём, бывает, хранятся сокровища; чтобы переждать зиму. Он надевает видимость ребёнка или старика, или домашнего животного, или <...> Выманивают драконов из колодца на нюхательный табак, которым <...> Старые же драконы падают на землю с небес. И когда уже совсем не могут взлететь, идут искушать людей разным страхом».

В тот же момент в библиотеку заскочил суетливый хорёк. Он метался между стульями, и смотритель прочитал его быстрые мысли:

«Добрый человек, – думал хорёк на человеческом языке, – мне всего лишь надо где-то укрыться на зиму. Будь так любезен подарить мне вход в одно из твоих подземелий, где тепло, где земля согревает семена и я мог бы выспаться от своей великой бессонницы».

«Думаешь, Дракон, я не знаю, что ты хочешь меня обмануть? – думал в ответ смотритель. – Что тебе нужны сокровища, это я давно знаю. А ведь холодна сырая темнота колодца. Разве это тебе нужно? Я для того и смотритель здесь, чтобы тебя не пускать».

«Пожалуйста, дай мне пожить в твоих любезных подземельях, покажи вход в колодец, – хитрил хорёк, – а весной я подарю тебе бесценной своей чешуи. На неё ты купишь земли и крестьян, ты сядешь мне на плечи, и вместе мы пойдём на императора и победим императора. И дай мне *огнь* из подземелья, чтобы я мог согреться от зимы».

Смотритель пригнулся и бросился бежать в кладовку, где хранился посох. Хорёк пересёк его путь и кинулся под ноги, взобрался по сапогу на локоть и уже хотел вцепиться в горло, но был отброшен в стену. Вместо того, чтобы отскочить, как подобает мягкому, пушистому зверьку, он ударился в неё с такой силой, что дом зашатался и, ломая комнаты и потолок, извиваясь пунцовым хвостом и с чудовищной ловкостью переставляя лапы, как гибкий, тугой холст, в доме стал разворачиваться Дракон. Смотритель завращал посохом над головой, словно ветряная мельница, и, искря по его телу, несколько раз чиркнул чудовище. Там, где посох прикасался, чудовище как бы таяло, суживалось: лапы скручивались в лапки, гребни – в бороздки, но рядом с уменьшенным тут же выросло новое, в полную величину. Смотритель бросил посох прямо в усатую, огненную морду зверя и под падающими балками стремглав рванул в кухню. Драконья голова задёргалась, осела внутрь, и уродливое тело с грохотом упало набок. Но через мгновение зверь вскочил, замотал обезглавленной шеей, развинчивая из неё новую гривастую морду, которая под своей тяжестью гнулась к полу, и в этот же миг в слизистые, болотистые ноздри ему полетели разорванные кубики нюхательного табака.

– Всего-то и делов... – говорил дед Никита, дрожа от пронизывающего ледяного ветра. Дом лежал вокруг, полностью разрушенный, размётанный по всему двору. Каменный забор раскидало, словно после пушечного обстрела. В руках Никита Ильич держал свинцовую галошу, горловину которой он только что запечатал на костре. В ней поместилось всё, что осталось от Дракона – одурманенный табаком хорёк.

Извиваясь и вздуваясь на жёстких линиях ветра, колыхалась линиялая пустая оболочка древнего, одряхлевшего дракона. Каменистый колодец обрушился. И смотритель, обнимая галошу, присел на сохранившееся крыльцо. Дождь перестал, в мире, словно коромысло, раскачивалась тишина, земля прислушивалась и засыпала. Смотритель сидел тихо-тихо, достав из-за воротника похожую на ветку дудочку. Он продул её и стал поигрывать большую круглую мелодию: масляно лоснящийся шар, малиновый бок, фиолетовый передок, ловил её в сачок баночки, ставил перевёрнутой на порог и так сидел целый вечер, слушая, как она переливается внутри, под стеклом, светясь, словно пойманная в ведёрко луна.

СЕМЬ БАБОЧЕК КИАМОТУ

Семь странников на велосипедах, освободившись из душного поля, подныривали в преждесумеречные сосны и там, весело забуксовав, спешили. Песчаная колея жевала нагретые колёса, проталкивала по стрелке откоса к реке. Рогатые коряги, крутя лунки водоворотов, ветвились в золотистом тумане над закатной рябью. Песчаный берег был чист и отзывчиво ожидал прикосновений, как молочная, с синими прожилками линеек, белизна первоклашкиной тетради. Вечер неуклонно рос, стреноженные велосипеды на привале отбрасывали бурелом теней, и странники, изредка поглядывая на заходящее солнце под козырьком облаков, спешили соорудить готическое основание костра. Скоро в нём поселится большой, тревожный многострельчатый замок. И будет, прорезая ночь, вить в небо грубую шерстяную нить искр.

Велосипедисты уселись вокруг раскуривавшейся сопки. Дым неспешно мотало, бросало кому-нибудь в лицо, тот отмахивался, передавая его дальше, пока он фамильярно не влез каждому в нос и волоса, пока не окурил всех синим, успокаивающим дыханием. Игорь настраивал укулеле, удобное для похода, обещал интересную историю, некий современный миф, почти равный гомеру; Света подглядывала, как изнутри частокола занимается огонь, Алик и Саша секретничали; в темноту к реке отошли разговаривать два мужских голоса, Полина развязывала рюкзак. Раздался капроновый перебор струн, вразрядку столкнулись вертикальные ноты бутылочного стекла, заработавший многотактным, синкопирующим мотором костёр отозвался у каждого где-то в основании затылка расслабленным, заменяющим чувство времени гулом. Успокоенно уходящим через шею в тело. Заметив, что все в сборе, Игорь начал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.